

Николай
МАЙОРОВ

ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Иваново
Издатель Ольга Епишева
2019

УДК 882.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
М 14

Майоров, Н. П.
М 14 Избранные стихотворения / Н. П. Майоров;
вступ. ст. Л. И. Щасной. — Иваново: Издатель
Ольга Епишева, 2019. — 192 с.

ISBN 978-5-904004-77-4

Репродуцируется графика из коллекции
Ивановского областного художественного музея
(хранитель фонда — Е. С. Климова).

*Идея художественного оформления книги —
Е. А. Толстопятова*

Книга издаётся по инициативе депутата Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ В. В. Иванова и
Ивановского отделения Союза писателей России.

ISBN 978-5-904004-77-4

© Н.П.Майоров, 2019
© Л.И.Щасная, вступ. ст., 2019
© Ивановский областной
художественный музей, 2019
© Оригинал-макет. Издатель
Ольга Епишева, 2019



3

ЖАЖДА ЖИЗНИ

Рассказывают, что земля Смоленщины, когда здесь работают поисковики, поднимающие останки погибших на Великой Отечественной и до сих пор не захороненных солдат, сплошь «звенит» под металлоискателями. Настолько она, особенно на трагически знаменитом Ржевско-Вяземском направлении, всё ещё набита осколками.

Мы не можем даже вообразить себе, каково это было живым и смертным людям не только находиться под непрерывными разрывами бомб, снарядов, мин, но и противостоять врагу, сильному и безжалостному. А ведь это было... Было! И, в конечном счёте, — не только остановили, но и отбросили, опрокинули, победили.

4

И в этом адском пекле и адском холде первой военной зимы юноша двадцати двух лет незадолго до своей гибели написал:

Когда к ногам подходит стужа
пыткой —
в глазах блеснёт
морозное стекло,
как будто
вместе с посланной открыткой
ты отоспал последнее тепло.
А между тем всё жизненно
и просто,
и в память входит славой на века
тяжёлых танков
каменная поступь
и острый блеск холодного штыка...

Место его гибели — у деревни Баранцево Гжатского района Смоленской области. Время — февраль сорок второго.

Автор этих строк – поэт Николай Майоров (1919–1942), известный тогда только своим родным и близким, да друзьям и однокурсникам (в сорок первом он заканчивал истфак МГУ и одновременно занимался в поэтическом семинаре П. Антокольского в Литинституте им. А. М. Горького). Политрук пулемётной роты 1106-го полка 331-й Брянской Пролетарской стрелковой дивизии, он похоронен (перезахоронен) в огромной братской могиле в селе Карманово Гагаринского (бывшего Гжатского)

5

района. Теперь имя Майорова — поэтический символ поколения, которому в начале войны исполнилось двадцать с небольшим...

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папироны...

Без этих майоровских строк сегодня невозможно представить антологию поэтов-фронтовиков. Хотя при жизни у поэта почти не было публикаций.

* * *

Отец Николая Майорова, Пётр Максимович, человек сугубо мирного рода занятий — крестьянин, плотник, — воевал на империалистической и три мучительных года провёл в германском плена. А дома подрастали двое сыновей — Алексей и Иван. После возвращения отца с войны родился Николай, следом за ним — Александр и Виктор. Наверняка рассказы о плене стали частью семейного предания (об этом пишет ивановский писатель Виталий Сердюк в документальной повести «Выше смерти»¹⁾) — воспоминания о мучениях и унижениях, перенесённых простым русским мужиком на чужбине, о чём он, конечно, никогда не забывал...

¹ См.: Сердюк В. Е. Выше смерти. Страницы жизни Николая Майорова // Сердюк В. Е. Судьба писателя. Воспоминания и размышления. Иваново: ИД «Референт», 2011. С. 48–101.

Н. Майоров появился на свет в деревне Дуровке под Сызранью, в Поволжье, в голодном 1919 году. Оттуда в поисках лучшей жизни семья Майоровых перебралась в деревню Павликово на Владимирщину. А в 1929-м — в Иваново-Вознесенск, ради старших сыновей, тянувшихся к учёбе. Именно в 1929-м Иваново-Вознесенск, прежде безуездный город Владимирской губернии, стал центром вновь образованной Ивановской промышленной области, в состав которой на несколько лет вошла Ярославская область и часть Владимирской и Костромской.

Иваново-Вознесенск рубежа двадцатых — тридцатых (в 1932-м потерявший «церковную» половину своего имени) стал быстро растущим рабочим городом: строились текстильные фабрики, комбинаты, банк, почтamt, театр, вокзал, жилые дома для трудящихся, невиданного прежде конструктивистского облика. Одновременно он развивался и как студенческий, вузовский центр. В городе работали известные московские архитекторы В. Бессин, академик И. Фомин...

Семья поселилась в собственной избе, перевезённой из деревни Павликово Гусь-Хрустального района. В этом видится некий важный смысл сохранения неразрывной родовой связи с землёй, но при этом и движения от крестьянского быта к рабочему. Отец теперь плотничал на фабрике. «Потянуло к фабрике» и брата Ивана. Рабфак — вуз. Типичная в те годы линия жизни для тех, кто стремился к высшему образованию, не имея среднего.

Так и Иван — поступил в Текстильный институт. Студентом был и брат Алексей. Изменился весь уклад и направленность жизни: от деревенской к городской, от неучёности родителей к высшему образованию сыновей; образно говоря, от темноты — к свету; от бескрылой обыденности — к высоте.

Обновляющийся Иваново-Вознесенск раздвигал свои границы. На одной из его окраин и прижилась изба Майоровых — рядом с лётным полем (что тоже символично). Одержанность небом, вообще очень характерная для молодёжи тех лет, определила судьбу старшего из братьев — Алексея (он поступил в трёхгодичную лётную школу города Энгельса).

Тема покорения неба мощно прозвучала в ранних стихах юного поэта (*«Памятник»*, 1938: о лётчиках, у которых «мотор ... сдал на полути»). И образ высоты стал одним из ключевых в его творчестве, наряду и наравне со словами-образами звёзды, творчество, жажды, гроза, ливни, напролом, прямой, обрыв, гибель, потомки, по которым можно безошибочно угадать майоровские тексты. Эти наброски, многие из которых стали известны исследователям спустя годы после войны, заговорили с нами сдержаным (*«глуховатым»*, по воспоминаниям) и в то же время страстным голосом влюблённого в жизнь человека. Иногда они кажутся фрагментами одного большого, напряжённого, разорванного на части Текста — однако, при этом, удивительно полно выражающего мировоззрение целого поэтического поколения.

В сорок первом пришло время отвечать за клятвы, уже данные от имени «лобастых мальчиков невиданной революции» (П. Коган). (Он же: «Моё поколение — это зубы сожми и работай, / Моё поколение — это пулю прими и рухни...») Поколение романтиков, готовность которого к испытаниям Николай Майоров декларировал за год до Великой Отечественной:

...мы прошли с обугленными ртами
И мужество как знамя пронесли...

На Смоленщине бились с фашистами ярославцы, ивановцы, костромичи, владимирцы, орловцы, куряне — срединная, сердцевинная Россия. Ополченцы. Добровольцы. Пахари. Рабочие. Учителя. Студенты. В Ярославскую Коммунистическую и Брянскую Пролетарскую дивизии записывались семьями.

Летом сорок первого Николай Майоров рыл окопы под Ельней. В октябре был призван в действующую армию.

«Хорошо помню нашу последнюю встречу в глухом осеннем городке. Николай уже был солдатом. Шинель ему выдали не по росту, короткую. Он передвигался тогда в какую-то воинскую часть, по назначению. Был молчалив, задумчив, новых стихов не читал — не до стихов было в эти трагические недели...» — писал в предисловии к toenъкому «молодогвардейскому» сборничку «Мы» (1972 г.) Николай Банников, учившийся в МГУ

курсом старше. Книжка вышла в популярной тогда, говорящей сама за себя, серии «Имена на поверке». Перекличка живых и мёртвых: «для славы мёртвых нет».

Расстояние от Ельни до места гибели Николая по карте, напрямую, — километров полтораста, а по времени — полгода.

На прощанье перед отправкой на «спецзадание» (рытьё окопов) его обняла девушка, однокурсница, возлюбленная, отношения с которой складывались сложно и неровно и, казалось, к этому времени были завершены. Это — Ирина Пташникова. Её переписка с Майоровым и воспоминания — важный человеческий документ и источник информации о жизни поэта¹. «Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты. <...> Помню Николая в этот момент — высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами... Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении “Мы”? <...> Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-нибудь тяжёлое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча...»

¹ См.: Майоров Н. П. Избранное: стихотворения / Сост., вступ. ст., примеч. Н. А. Голубева. Иваново: Издатель Епишева О. В., 2015. С. 159—170, 171—178.

Облик поколения, романтичного, самоотверженного, изначально жертвенного, воскрешают дошедшие до нас строки погибших на войне поэтов. Многие из них ещё до войны пророчили себе гибель, как и Н. Майоров, писавший, что умолкнет «в завтрашнем бою». Только ещё не знал — «у какой заставы»...

Колоссальный заряд добровольно принятой на себя ответственности — за всё происходящее в мире — характерная черта поколения. Причины и следствия этой «земшарности» соединены в романтическом чувстве преданности идеям Революции («И коммунизм опять так близок, как в девятнадцатом году», — М. Кульчицкий).

«Это были отличные ребята, с боевым задором и полным незнанием жизни», — писал в статье о Семёне Гудзенко (1922—1953) Павел Антокольский. Мэтр говорил о стихах, пронизанных «tokами Пастернака и Хлебникова», характерных «для целого поколения нашей поэтической молодёжи...». И о том, что они «мало самостоятельны».

Тем не менее, стихи их вошли в «каталог» («Мы», Н. Майоров), на что автор не слишком-то и рассчитывал. Главным для него было другое:

Ни наших лиц, ни наших комнат...
Но пусть одно они запомнят:
вокруг московского Кремля
вращалась в эти дни земля. (Апрель 1941 г.)

До сорок первого поколение жило в атмосфере предгрозья, сознавая, что война неизбежна. Поражение республиканцев в первом масштабном сражении с фашизмом в Испании, падение Парижа, бомбардировки Лондона и Ковентри сгущали эту атмосферу, отражались и в стихах Н. Майорова: «Стихи про стекольщика» (1940), «Париж весной 1940 года» (едкий памфlet на европейского обывателя). Или, к примеру, в совсем «ивановском»: «Тогда была весна. И рядом...» (1940):

...ныне вновь война и порох
Вошли в большие города...

И всё-таки реальные сражения с фашизмом оказались многократно кровопролитней и страшнее, чем это представлялось до войны. Н. Майоров не уклонился от испытаний, иные варианты построения судьбы были для него неприемлемы. Его старшие братья — человек мирной текстильной профессии Иван и военный лётчик Алексей — воевали (позже встал в строй и младший — Александр). Осенью сорок первого, в тяжелейшие для страны дни, Иван в письме из-под Киева, который приказано было «защищать до последней капли крови», писал домой, в Иваново: «...мы — русский народ, а тем более советский, и нас победить невозможно...» (В. Сердюк. «Выше смерти»).

Из братьев с фронта вернулись двое — Алексей («...прошёл через всю войну. Заслужил четыре ордена и семь медалей. В чине полковника вышел

в отставку». В. Сердюк. «Выше смерти») и Александр. Тот самый Шурка, который в первые дни войны добрался до Николая в столицу и вместе с ним относил кому-то из знакомых чемодан и корзину с вещами и рукописями брата (сам Николай, как уже сказано, уезжал на рытьё окопов).

Знавшие поэта свидетельствуют о начатой работе над романами (повестями) в стихах, которые тематически и стилистически делились как бы на два разнородных потока. Это — то новое романтическое мироощущение (упрощая: советский народ «более», чем русский). И — в противопоставление этой новизне — старый «избяной», изживаемый, тяжёлый дух прошлого, описанный «вещно», почти натуралистично, в манере М. Горького или П. Васильева (стихотворения «Зов жизни», «На родине», «В солдатчине», «Дед», «Что я видел в детстве», «На третьей полке сны запрещены...», «Отцам»). Но, неся в себе плакатность настоящего, страстную приверженность будущему, отрицая «мрак прошлого», Н. Майоров соединил своё сложное отношение к различным сторонам жизни в признании:

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами.
Глаза мои обращены на всех. (1938)

Эти стихи позволяют отследить короткий, стремительный взлёт к вершинам творчества и любви, каких он успел достичь. И понять: творчество всё же было главным в жизненных приоритетах:

Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни
Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя всё так же мали глину
И лучшего придумать не смогли. (*Творчество*, 1940)

Чувство любви, пронизывающее майоровские стихи, — из того же ряда стихий, владеющих поэтом, как жажда жизни, полёта, открытий, творчества. Иногда оно выше или больше всех этих порывов:

Будь для меня и небом и землёй,
Пошли на смерть, корми тяжёлым хлебом!
Я всем плачу тебе: собой,
Словами лучшими и славой ветровой,
За эти руки, пахнущие небом! (*Август*, 1940)

И всё — на пределе возможностей, на том рубеже, где уже не удается отделить себя от другого человека,

где тьма и свет сливаются воедино, а любовь перерастает почти в ненависть, в сумасшествие, в неистовство:

И всё ж любить тебя,
как любят
глухие приступы тоски, —
как потерявшій чувство красок
любил безумный,
страшный Врубель

(«Заснуть. Застыть. И в этой стыни...», 1938)

Тут прямое сопоставление любви и лихорадки творчества как родственных состояний...

Но иногда:

...он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла
и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя! (Тебе, 19

Николай успел многое узнать о любви, и значит, о жизни. «Я лирикой пропах, как табаком...»

Поэтический темперамент — это то, что невозможно подделать. В майоровских стихах, на-

бросках поэм читается такой напор творческой воли, стремления вперёд, или погони за недостижимым, как будто человек всё время бессонно («на третьей полке сны запрещены») перемещается в пространстве, которое «рвали тормоза», едет, не зная, «куда девать сгорающее тело» в «насквозь прокуренном» вагоне, «от которого несло кочевьем»...

Стихи Николая Майорова удивительно афористичны, ими хочется делиться. А начиная цитировать, понимаешь: оборвать ход рассуждений поэта невозможно и темперамент его так захлестывает, что жаль упустить хоть слово из этого горячего, порой горячечного, потока чувств и мыслей. Всё драгоценно и значимо для понимания этой судьбы, типичной для поколения — и всё-таки единственной и неповторимой... Она захватывает, возможно, и потому, что в современном стихотворчестве это первозданное восприятие мира, стремление к его творческому постижению и преображению, кажется, начисто утрачено. Как и благословение «мы», спасавшее народ во дни великих бедствий и объединявшее в ликовании во дни великих торжеств.

И отменить всё это невозможно никакими изменениями общественного устройства.

Через год — 75-летие нашей Победы.

Великая гордость. И — великая боль. Ведь эту Победу у нас сегодня стараются отобрать, оскорбить, унизить, оболгать. Примеры настолько многочисленны и так тиражируются в «средствах массовой информации», что становится всё яснее: Отечественная ещё не окончена...

И в новом «гибридном», «холодном» противостоянии с теми, кому никогда не понять, как может человеческое сердце гореть беззаветной любовью к Родине, свидетельством, примером и подмогой нам служат молодые поэты «сороковых, роковых», сложившие свои головы на тех полях, которые и по сей день засеяны железом войны и пока не захороненными солдатскими косточками...

Возможно, поэтому стихотворение Майорова «Нам не дано спокойно сгинуть в могиле» именно сегодня звучит как грозное предостережение:

В могилах мы построились в отряд
и ждём приказа нового... И пусть
не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

Посмертные книжки Майорова «собирали» его университетские друзья, впоследствии профессиональные писатели — Виктор Болховитинов, Николай Банников, историк Александр Немировский, товарищи детства и юности — замечательный

поэт Владимир Жуков, художник Николай Шеберстов, актёр Константин Титов... Гуманитарии, штатские, мирные, по сути, люди. Правда, В. Жуков успел перед большой войной побывать на «малой», стодневной финской. Множеством дружеских солдатских посвящений живым и погибшим пронизано поэтическое послевоенное пространство. И в нём, как едином информационном поле, до сих пор продолжают звучать «позывные простреленного сердца» (В. Жуков) Николая Майорова.

Сверстники Н. Майоров, П. Коган (1918—1942), М. Кульчицкий (1919—1943) почти не публиковались. Хотя, учась в легендарных московских вузах — ИФЛИ, МГУ, Литературном институте, они были известны студенческой Москве и, конечно, друг другу и ревниво следили за творчеством друзей-соперников. Этому способствовали их состязания на литературных вечерах. Сегодня эти поэтические «шибики» назвали бы модным чужеземным словечком «баттлы». Лучшие строки были уже тогда услышаны, записаны, их запомнили наизусть. У публики были свои предпочтения, и молодёжная аудитория не раз «выкликала» скромного парня из Иванова: «Пусть почитает Майоров с истфака!»

Пережившие войну А. Межиров, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, С. Орлов, С. Гудзенко, М. Луконин, М. Дудин, В. Жуков, С. Наровчатов, Н. Старшинов, Ю. Друнина и другие стали советскими классиками. Погибшие навсегда остались молодыми.

Удивительная черта поэтов-фронтовиков: не бросать своих...

Опережая нынешних поисковиков-волонтеров, после войны они стали «поднимать» павших. И было это непросто. Ведь Павел Коган, к примеру, не увидел в печати ни одной своей строки (Л. Аннинский). Майорову «засчитывают» даже стихи в рукописных сборниках и школьной стенгазете, экспромты в письмах к друзьям или любимой девушке, не говоря уж о публикациях в многотиражке МГУ и единственном стихотворении в коллективном сборнике «Парад молодости» (изд. «Физкультура и спорт», 1940)...

Так чудом сотворчества выживших поэтов с погибшими, памятью верных друзей были восстановлены, отысканы, собраны и изданы, казалось бы, сгинувшие навсегда поэтические строки. Первый сборник «Мы» с предисловием П. Антокольского и воспоминаниями о Майорове Д. Данина, В. Жукова, Н. Глазкова, М. Львова вышел в свет в столичной «Молодой гвардии» в 1962 году. Второй — «Мы были высоки, русоволосы» (предисловие А. Туркова) — в Ярославле, в Верхне-Волжском издательстве в 1969-м, а через три года — ещё один «молодогвардейский» сборник «Мы» с предисловием Николая Банникова. В сущности, в них воспроизводились одни и те же стихи (всего-то около ста). Но тонкие эти книжицы оказались «томов премногих тяжелей» и с течением времени не утратили своего поэтического «веса».

Настал черёд увековечить память о поэте. В Иванове Первая Авиационная, на которой прошли

Бюст Николая Майорова
в Литературном сквере
г. Иваново

детство и юность Николая Майорова, стала носить его имя. А параллельная Вторая Авиационная называна Велижской в честь 332-й Ивановской имени Фрунзе стрелковой дивизии, сражавшейся под Велижем на Смоленщине.

В 1987 году (уже на излёте советской власти) в Литературном сквере областного центра, созданном по инициативе ивановских писателей (и в первую очередь Виталия Сердюка, руководителя организации), был торжественно открыт бронзовый бюст поэта Николая Майорова.

А далее — «роковые девяностые»...

Почти десятилетие прошло с тех пор до публикации в Иванове коллективного сборника «Неопалимая память» (2005), посвящённого поэтам-фронтовикам, нашим землякам...

И всё острее чувствовалась общественная необходимость отдельного издания Н. Майорова.

Когда-то в середине тридцатых прошлого века Володя Жуков, затаив дыхание, слушал майоровские



стихи на литературных вечерах в ивановской 26-й (тогда 33-й) школе. Девочки-ровесницы и те, что были помладше, влюблялись в «своего» поэта, восхищались его стихами. Е. И. Кудряшова была в их числе. И, спустя многие годы, она, известный в нашем крае литературовед, говорила, вспоминая школу и ключевое майоровское «Мы были высоки, русоволосы...»: «Русоволосы — да, но невысоки...» Собственно говоря, мальчишки! Но жизнь для них действительно «не имела потолка».

В 2015 году на старинном здании школы, рядом со знаками памяти Дмитрия Фурманова и Владимира Жукова, установлена мемориальная «майоровская» доска... Здесь вообще царит дух почитания всех прославивших наш край учеников, погибших на войне (их имена видят каждый поднимающийся по школьной лестнице), и живое, творческое отношение к празднованию Дня Победы и участию в Бессмертном полку.

В том же году, к юбилею Великой Победы, по инициативе ивановских писателей, при поддержке депутата Государственной думы РФ В. В. Иванова, на народные деньги, собранные при содействии ивановских вузов и других учебных заведений области, а также на частные пожертвования был издан томик «Избранное» Николая Майорова, оформленный графикой ивановских художников из фондов Ивановского областного художественного музея. Эта книга, наиболее полно представляющая творчество поэта, составлена и прокомментирована



Мемориальная плита с именем Н.П. Майорова в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области

ивановским журналистом и исследователем творчества земляка Николаем Голубевым.

Ивановские писатели, памятуя наказ Владимира Жукова: «Забудем мы, забудут нас!», в год 70-летия Победы побывали в Карманове Гагаринского района, на месте упокоения Николая Майорова. Поездка состоялась благодаря содействию В. В. Иванова, А. К. Бурова (в то время — заместителя председателя Ивановской областной думы) и властей города Иваново, а также смоленских депутатов всех уровней, властных структур и



Воинский мемориал на братской могиле в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области

общественности Гагаринского района, которые горячо поддержали ивановцев.

Учащиеся и учителя Кармановской средней общеобразовательной школы, для которых ивановцами была составлена целая библиотечка, перестали воспринимать имя Н. П. Майорова лишь как строчку на одной из плит мемориала в перечислении восьми с лишним тысяч других имён. Они вдруг увидели, что романтическая фигура Трубача над братской могилой недалеко от их школы — это изваяние того самого «шального трубача» из майоровского «Мы». И услышали его в стихотворении:

...лежим навытяжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили...

Учащиеся старших классов Кармановской школы под руководством своей учительницы В. В. Лобачёвой создали диск со стихами Майорова и собственными иллюстрациями к ним (писательский альманах «Откровение» за 2016 год рассказал об этом). Началось побратимство кармановского и ивановского школьных коллективов. Обмен делегациями, установка индивидуальной мемориальной плиты Н. Майорову в Карманове, совместная поездка в Дмитровский музей «Строка, оборванная пулей» (2017), встреча там с энтузиастами сохранения памяти поэтов-фронтовиков. Инициированное В. В. Ивановым совместное

мероприятие в Государственной думе (2018), посвящённое предстоящему 100-летию со дня рождения поэта. И в апреле того же года решением Смоленской областной думы присвоение имени нашего земляка Кармановской школе. Ивановская школа № 26 торжественно открыла юбилейный год замечательного поэта созданием в начале учебного 2018/19 года мемориального майоровского класса.

И вновь — ивановцы, смоляне, гагаринцы, подмосковные дмитровцы... Срединная, сердцевинная Россия, которой и сегодня надо стоять не на смерть, а — на жизнь! За право оставаться собой, сохранивая честь, достоинство, память...

Николай Майоров всё ещё с нами — своей неутолённой жаждой творчества. Жаждой высоты. Жаждой жизни.

Лариса ШАСНАЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ



Д. Цул. Демидовская улица весной

О нашем времени расскажут.
Когда пройдём, на нас укажут
и скажут сыну: — Будь прямей!
Возьми шинель —

покроешь плечи,
когда мороз невмоготу.
А тем — прости: им было нечем
прикрыть бессмертья наготу.

А. Софронова. Два деревца

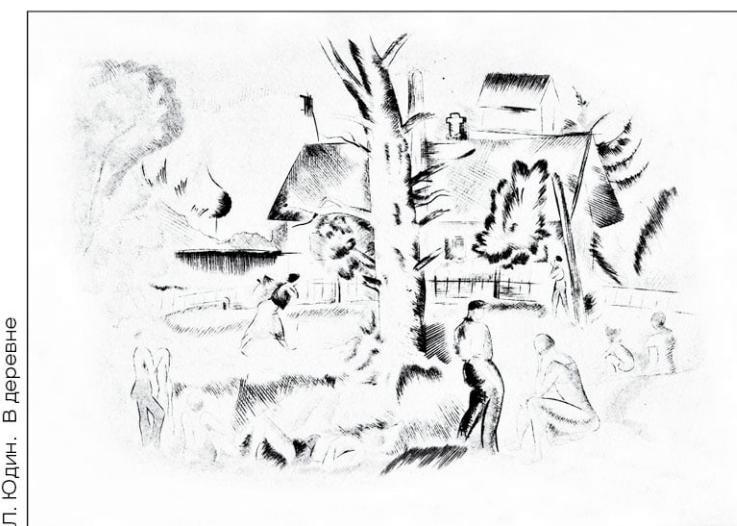


Стихотворения 1936 года

СОЛНЦЕ

Ходят, стонут половицы.
И опять от косяка
Тянет мне испить водицы
Чья-то белая рука.

Я стучал в окно, не чая,
Что оттуда,
полоня,
В белом теле отсвечая,
Хлынет солнце на меня.



Л. Юдин. В деревне

Ты пишешь мне в письме, дружище,
что сад стал гол и нелюдим,
что ветры северные рыщут
и громко буйствуют над ним.

И туча дымом нависает,
дожди свой сказ к концу ведут.
Берёзка под окном косая
сгибает голову к пруду.

И ей бы вместе с листопадом
хотелось к косогору лечь.
А ночью встретиться за садом
и клён обнять у самых плеч.

Но нет: ветра упрямо клонят
её к холодному пруду,
а так не хочется в прогоне
стоять у всех ей на виду!

И скоро инеем затянет
у берегов блестящий лёд.
Ей станет холодно. Устанет —
и на колени упадёт.

ОСЕНЬ

Кончался август. Ветер в груши
бросал предутреннюю дрожь.
И спелый колос грустно слушал,
как серп жевал сухую рожь.

Рябины красными кистями
свисали ниже над землёй.
Качались ивы над домами,
заплакав ржавою слезой.

Но с каждым днём всё холодало.
Темней и глупше день от дня.
И осень рыжим одеялом
покрыла тощие поля...

ИСТОРИЯ

Она пропахла пылью вековою,
ветрами лет. И ныне на меня
глядит бумагой древней гербовою,
случайно уцелевшей от огня.
А было все:

и зябких листьев вздохи,
и сабель свист, и шёпот конопли.
Как складки лба, изрытые отроги
легли в надбровья сплюснутой земли.

Прошли века. Но ночью вдруг я внемлю:
вновь душу рвёт нам азиатский гик...
И тишина... И падают на землю
мои густые, твёрдые шаги.

ЗВЕЗДА

Каждому — радость и страх.
Каждому — солнце и воздух.
В чьих-то воздушных руках
прыгали в небе звёзды.
Только с рассветом одна
в чёрную землю упала, —
и над деревней заря
встала до крови ала.
Вышла надежда из дум —
долго в небе морозном
искала свою звезду
в неуловимых звёздах.

БЫЛЬ ВОЕННАЯ

Ночь склонилась над рожью,
Колос слепо ловит тьму.
Ветер тронул мелкой дрожью
Трав зелёную кошму.

Тишина котёнком бродит
От реки до дальних троп.
У соседки в огороде
Дремлет ласковый укроп.

Мой товарищ курит трубку,
Говорит не торопясь.
О боях, о жаркой рубке
Начинается рассказ.

Только вот глаза прикрою,
Память снова говорит.
Под днепровскою волною
Не один товарищ спит.

И пройди по всем курганам —
Бой кровавый не забыт,
И курганы носят раны
От снарядов и копыт.

Мы не раз за трубкой вспомним
Быль военную годов,
Как в упор в каменоломню
К нам тянулось семь штыков.

Как прорвались мы гранатой —
Всё снесли в огонь и дым.
Даже мост спиной горбатой
Встал в испуге на дыбы.

...Мой товарищ, мой ровесник,
Мой любимый побрратим,
Этой славы, этой песни
Никому не отдадим.

ДЕТСТВО

Я был влюблённым в лес и в воду,
В простую радость, в игры на дворе.
Курил табак. Крал тайно из комода
Отцовский карабин, хранимый в кобуре.

Друзья мои, — владельцы птичих клеток,
Невинных снов, диковинных гвоздей, —
В часы нужды курили листья с веток,
Дрались у игрищ, крали голубей.

На всё был спрос, к любой покупке повод.
Превыше всех коллекций старины
Ценились карабин и книжка «Овод»,
Для них, казалось, не было цены.

Мир был предельно прост и ясен.
И за пригоршню пятаков
Мы покупали мыслимое счастье,
Закованное в тяжести подков.

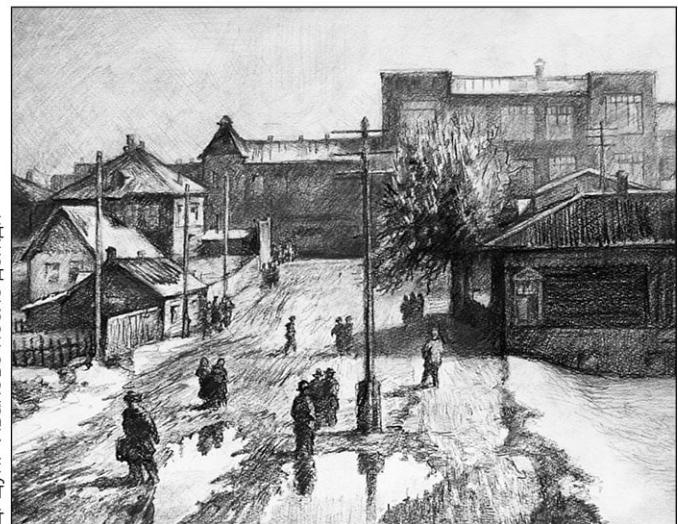
В СОЛДАТЧИНЕ

Ему заткнули рот приказом:
не петь. Не думать. Не писать.
И мутным, словно лужа, глазом
за ним стал ротный наблюдать.
Здесь по ночам стонали глухо
солдаты, бредили. А днём
учили их махать ружьём
и били их наотмашь в ухо,
так, чтобы скулу вбок свело,
чтоб харкать кровью суток пять,
чтоб, срок отбыв, придя в село,
солдату было что сказать.
Но иногда роились слухи,
как вши в рубахе. Каждый мог,
напившись огневой сивухи,
сказать, что он — солдат и бог.
Их шомполами люто били.
Они божились и клялись.
С глазами, словно дно бутыли,
садились пить.
И вдруг — дрались.

Но вопреки царям и датам,
страданьем родины горя,
под гимнастёркою солдата
скрывалось сердце кобзаря.

АПРЕЛЬ

Ту улицу Московской называли.
Она была, пожалуй, не прямая,
Но как-то по-особому стояли
Её простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом.
Купалась в стёклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза.
По вечерам — тягуче, неумело
Из-под шершавой выгнутой руки
Шарманка что-то жалостное пела —
И женщины бросали пятаки.
Так детство шло.
А рядом, на базаре,
Народ кричал. И фокусник слепой
Проглатывал ножи за раз по паре.
Вокруг — зеваки грудились толпой.
Весна плыла по вздыбившимся лужам.
Последний снег — темнее всяких саж —
Вдруг показался лишним и ненужным
И портившим весь уличный пейзаж.
Его сгребли. И дворники, в холстовых
Передниках, его свезли туда,
Где третий день неистово, со стоном
Ломала льдины полая вода.

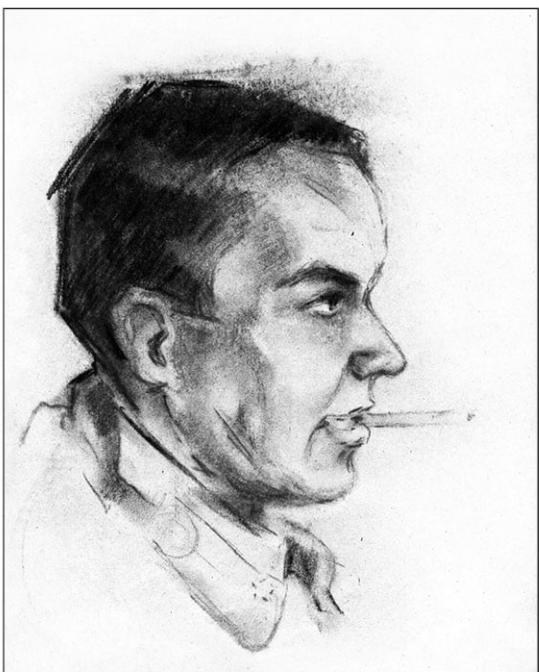


Д. Цул. Иваново после дождя

Ты мне о том не говори —
Я это слышал, слышал, слышал...
Ты лучше встань да отвори
Окно,
Ты слышишь, как по крышам
Ползут лавинами дожди...

Забудем то, что полюбилось людям.
Уйдём туда, где ветер да столбы,
где лес пророс до берега. Забудем
весь этот мир отчаянной гульбы.
Извечных просьб, сплошных недомоганий,
мир мелких выгод, духоты квартир.
Забудем скуку у подъездов зданий,
где мы встречались часто. Новый мир
иных высот и помыслов распахнут, —
возьми его и ощущи на вес.
Уж радостью звериной пахнет
к горе на плечи прикорнувший лес.
И мы пройдём зелёным косогором.
Там поезда идут. Гремят им вспять мосты.
И девушка уехала... А скоро
вот так же, не сказав, уедешь ты.
Тогда опять — тоска несчётных буден.
Придёт сосед и выпьет за меня...
Давай уйдём. Уйдём давай. Забудем
пустую прозу завтрашнего дня.

Мы пиво пьём за мраморным столом, —
Последние актёры, подлецы, бродяги.
За жёлтым в палец толщиной стеклом
Кружится с ног сбивающая влага.



Б. Пророков. Лист из альбома

Она мутит и ходит ходуном.
В нас блажь вошла
И каждый снова хочет
В такие ночи спаивать вином
Весёлых управдомовских дочек.
Уже оркестр ушёл,
И мы допели песню,
И наш сосед уж захмелел слегка,
А мы сидим, уйдя по плечи в кресла
И тянем злую мудрость табака.
Теперь мы оплелись, как осень,
И баки не по моде — до виска,
Мы галстуки ещё на шее носим,
Чтоб нас швейцар за столик допускал.
У нас сейчас желание простое:
О мирозданья рассуждать в тепле, —
Судьба проста. Табак раздумья стоит,
Пока пивные кружки на столе.
Мы будем пить. Пока ещё не поздно.
Пока ещё мы трезвы все. Пока
На счёт не ляжет искупленьем грозным
Официанта грязная рука.
Тогда мы встанем, отряхнём с коленей
Остатки раков, пепел и лузгу.
А что нам — ночь?
Она ничто в сравнении
С изъяном рваным в холостом мозгу.

В МИХАЙЛОВСКОМ

Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо выюга
Стучится в ставни.

И опять

Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрыть глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошённые бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забытой женщины, и ссылки,
И всё, чем жизнь её пестра,
Как жизнь восточного гарема.
...И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.

ЗАКАТ

Где-то в небе
за Дунаем,
у склонившихся Карпат,
перья жёлтые роняя,
таял розовый закат.
Ветры спали солнца ради,
тени с гор в равнины шли.
Кто-то долго нежно гладил
грудь истерзанной земли.
И она вздыхала томно
в ослепительный опал:
в небе плыл закат огромный,
Перья жёлтые ронял.

ЧАСЫ

Я не знаю, час который.
Летний день уходит в дым.
Может, нам расстаться скоро,
Может, часик посидим?
Против озера большого
У смеющейся воды
Запоём с тобою снова,
Что мы оба молоды.
Не гляди в часы. Не надо.
Я часам твоим не рад.
Ниагарским водопадом
Брызги времени летят.
И подумай — кто осудит?
Прогуляем до росы.
Может, бросим и забудем
Расставанье и часы?
С ветром ночь уже шепталась,
Падал с трав кристалл росы.
Но любовь не умещалась
Ни в слова и ни в часы.

А. Софронова. Радуга над городом



ДОМ

Когда, устав от рук, улыбок,
Пройду вдоль стенок на крыльце,
Мне дом покажется вдруг глыбой,
Давящей заспанных жильцов.

В нём нет часов. Здесь время мерят
Совсем неточно, и к тому же
Здесь верность — ложь. И мало верит
В свою жену неверный муж.

Им снятся сны, в которых мало
Вещей реальных, и притом
Так хорошо уткнуться ртом
В цветистый угол одеяла,

И спать, не помня губ жены —
Не всё ль равно — ведь есть другие.
В том доме все заражены
Подобьем тяжкой летаргии.

Д. Чул. Лист из альбома



Стихотворения 1938 года

НА РОДИНЕ

Там не ждут меня сегодня и не помнят.
 Пьют чай. Стареют. Свято чтут
 Тесноту пропахших пылью комнат,
 Где мои ровесники растут,
 Где, почти плечом дверей касаясь,
 Рослые заходят мужики
 И на стол клеёнчатый бросают
 Красные, в прожилках, кулаки.
 В дымных, словно бания, плошках
 Мать им щи с наваром подаёт.
 Мухи бьют с налёта об окошко.
 Кочет песни ранние поёт.
 Только в полдень отлетевшим залпом,
 Клочьями оборванного сна,
 Будто снег на голову, внезапно
 Падает на окна тишина.
 Пахнут руки лёгкою ромашкой.
 Спишь в траве и слышишь: от руки
 Выползают стайкой на рубашку
 С крохотными лапками жуки.
 Мир встаёт такой неторопливый,
 Весь в цветах, глубокий, как вода.
 Даже слышно вечером, как в нивы
 Первая срываеться звезда.
 Людям не приснится душный город,

Крик базара, ржанье лошадей,
 Ровное теченье разговора...
 Люди спят. Распахнут резко ворот.
 Мерное дыхание грудей.
 Спят они, раскинув руки-плети,
 Как колосья без зерна, легки.
 Густо лиловеют на рассвете
 Вскинутые кверху кадыки.
 Видят сны до самого рассвета
 И по снам гадают —
 Так верней —
 Много ль предстоящим летом
 Благодатных выпадет дождей?
 Я запомнил жёлтый подоконник,
 Рад тому, что видеть привелось,
 Как старик, изверившись в иконе,
 Полщепотки соли на ладони
 Медленно и бережно пронёс.
 Будет дождь: роняют птицы перья
 Из пустой, далёкой синевы.
 Он войдёт в косые ваши двери
 Запахом немолкнущей травы,
 Полноводьем, отдыхом в работе,
 С каждым часом громче и свежей.
 Вы его узнаете в полёте
 Небо отвергающих стрижей,
 В бликах молний и в гуденье стёкол,
 В цвете неба, в сухости ракит,
 Даже в том, как торопливо сокол
 Мимо ваших окон пролетит.

Я лирикой пропах, как табаком,
и знаю — до последнего дыханья
просить её я буду под окном,
как нищий просит подаянья.

Мне надо б только: сумрак капал,
и у рассвета на краю
ночь, словно зверь большой,
на лапы
бросала голову свою...

НА ВОСТОКЕ

Здесь всё пропахло выцветшим и древним,
Нагоняло смертную тоску...
Тощие монгольские деревни
Тесно жались
к красному песку.

ВЕСЕННЕЕ

Я шёл, весёлый и нескладный,
Почти влюблённый, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застёгнуто пальто.

Несло весной и чем-то тёплым,
А от слободки, по низам,
Шёл первый дождь,
Он бился в стёкла,
Гремел в ушах,
Слепил глаза,
Летел,
Был слеп наполовину,
Почти прямой. И вместе с ним
Вступала боль сквозная в спину
Недомоганием сплошным.

В тот день ещё цветов не знали,
И лишь потом на всех углах
Вразбивку бабы торговали,
Сбывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
Просили взять,
Вдыхали в нос,
На грудь прикальвали,
Брали



М. Соколов. Ландыши

Пошучни,
Оптом
И вразнос.
Её вносили к нам в квартиру,
Как лампу, ставили на стол,
Лишь я один, должно быть, в мире
Спокойно рядом с ней прошёл.

Я был высок, как это небо,
Меня не трогали цветы.
Я думал о бульварах, где бы
Мне встретилась случайно ты,
С которой я лишь понаслышке,
По первой памяти знаком —
Дорогой, тронутой снежком,
Носил твои из школы книжки.

Откликнись, что ли!
Только ветер
Да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить —
Мы лишь дети,
Которых снова ждут домой,
Где чай остыл,
Черствеет булка...
Так снова жизнь приходит к нам
Последней партой,
Переулком,
Где мы стояли по часам...

Так я иду, прямой, просторный,
А где-то сзади, невпопад,

Проходит детство, и валторны
Словами песни говорят.

Мир только в детстве первозданен,
Когда, себя не видя в нём,
Мы бредим морем, поездами,
Раскрытым настежь в сад окном,
Чужою радостью, досадой,
Зелёным льдом балтийских скал
И чьим-то слишком белым садом,
Где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нём, неладно,
Нам снова хочется домой,
В тот мир простой, как лист тетрадный,
Где я прошёл, большой, нескладный
И удивительно прямой.

СТРЕМЛЕНИЕ

Мы расходились и опять встречались,
писали письма, слали адреса.
Над нами звёзды робкие качались
и месяц рыжий с неба нависал.

Гремели поезда на перегонах,
ключи разлук глубоко затая,
и, не сойдясь, мы в крашеных вагонах
вновь разъезжались в разные края.

И всё ж, метаясь, злобствуя, кочуя
по гулким незнакомым городам,
в конце концов, стремлюсь я
и хочу я
причалить к тем же сбитым берегам.

Пусть в этом городе мне всё знакомо,
но разве не приятно мне опять
за каждым поворотом, каждым домом
знакомый мир, как в детстве, узнавать...





Д. Цул. Интерьер. У окна.

Никто не спросит, не скостит,
Не упрекнёт обидным словом,
Что стол мой пятнами изрыт,
Как щёки мальчика рябого.
Я спал на нём. Кому-то верил.
И писем ждал. Знать, потому,
Захлопнув поплотнее двери,
Я стал завидовать ему.
Живу с опаской. Снов не знаю.
Считаю даты. Жду весны.
А в окна, будто явь сквозная,
Летят, не задевая, сны.
Проходят дни, и всё короче,
Всё явственней и глушше мне
Поёт мой стол, и чертят ночи
Рисунок странный на стекле.
И в тонких линиях ваянья,
Что ночь выводит по стеклу,
Так много слёз и обаянья,
Пристрастья вечного к теплу, —
Что я теряюсь и немею.
Я нем почти. Почти в снегу.
Сказать хочу — и не умею,
Хочу запеть — и не могу.

ВОКЗАЛ

1

Зимою он неподражаем.
 Но почему-то мы всегда
 Гораздо чаще провожаем,
 Чем вновь встречаем поезда.
 Знать, так положено навеки:
 Иным — притворствовать,
 А мне —
 Тереть платком сухие веки
 И слёзно думать о родне.
 Смотреть в навес вокзальной крыши
 И, позабывшись, не рассышать
 Глухую просьбу: напиши...
 Здесь всё кончается прощаньем:
 Фраз недосказанных оскал,
 Составов змейных содроганье
 И пассажирская тоска.
 Здесь постороннему —
 лишь скуча,
 Звонки да глаз чужих ожог.
 Здесь слово старое — «разлука»
 Звучит до странности свежо.
 Здесь каждый взгляд предельно ясен
 И всё ж по-своему глубок.
 Здесь на последнем самом часе

Целуют юношей в висок.
 А пожилых целуют в проседь
 (Гласит мораль житейских уз),
 Поцеловать
 здесь значит: сбросить
 Вспоминаний тяжких груз.

2

А я, нагрузив чемоданы,
 Как будто сердце опростав,
 Вдруг узнаю,
 Что прибыл рано
 И что не подан мой состав,
 И вот
 Ходи вдоль длинных скосов
 Вокзальных лестниц
 и сумей
 Забыть, что нет русоволосой
 Последней девушки твоей.
 И пусть она по телефону
 С тобой простилась утром.
 Пусть.
 Ты ходишь долго по перрону,
 В словах нашупывая грусть.
 На слух, по памяти слагаешь
 Прощальный стих... И вот опять
 Ты с болью губы отрываешь
 От губ,
 Которых не видать...

Но лучше —
В сутолоке, в гоне
С мотива сбившихся колёс
Забыть, закутавшись, в вагоне
Весенний цвет её волос.
Ловить мелодию на память
И, перепутав имена,
Смотреть заснувшими глазами
В расщеп вагонного окна.

3

Когда прощаются, заметьте,
Отводят в сторону глаза.
Вот так и с нами было.
Ветер
Брыпался в вечер, как гроза.
Он нас заметил у калитки
И, обомлев на миг, повис,
Когда, как будто по ошибке,
Мы с ней, столкнувшись, обнялись.

A. Морозов. На Ярославском вокзале



ЯРОСЛАВЛЬ

Я слышал — город есть такой,
Там небо достают рукой,
И, поднеся поближе к глазу,
С ладони выпивают разом.

Мне возразят, что это миф,
А мифу место лишь Эллада,
Но разве, город полюбив,
О нём выдумывать не надо?

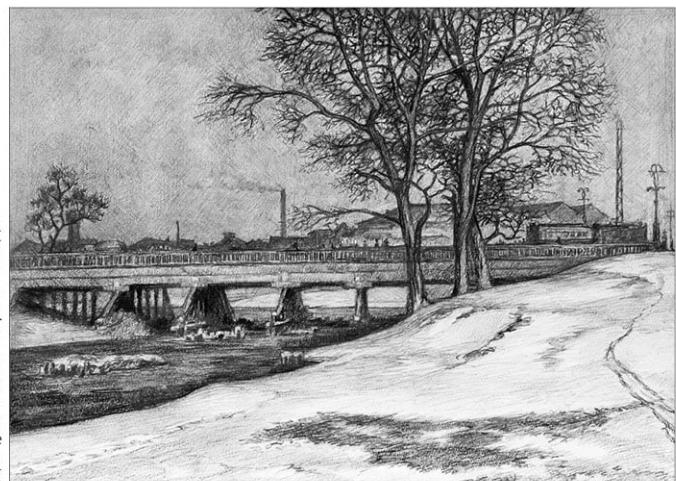
Кто раз в мои стихи заглянет,
Того в тот город жить потянет, —
Как ни упрямьтесь, я заставлю
Вас всех бродить по Ярославлю.

По какой тропинке —
не припомню,
только шёл я, как идут ко дну.
Словно к плахе,
было нелегко мне
подходить к забытому окну.

Вот и дом. Цветов встаёт засада.
Белая сыпучая сирень
протянула руки с палисада —
уцепились ветви за плетень.

И не дрогнет за дорогой тополь,
не стряхнёт
холодный пот росы...
И легли в траве высокой тропы,
как плетенья девичьей косы.

/1938/ 69



Д. Цул. Мост через Уводь

Заснуть. Застыть.

И в этой стыни
смотреть сквозь сонные скачки
в твои холодные, пустые,
кошачьи серые зрачки.

В бреду, в наплыве идиотства,
глядя в привычный профиль твой,
искать желаемого сходства
с той. Позабытой. Озорной.

И знать, что мы с тобою врозь
прошли полжизни

тьмой и светом
сквозь сон ночей, весны —
и сквозь
неодолимый запах лета.

И всё ж любить тебя,
как любят
глухие приступы тоски, —
как потерявший чувство красок
любил безумный,

страшный Врубель
свои нелепые мазки.

ВОЛК

Когда раздался выстрел, он
ещё глядел в навес сарая,
в тот гибкий миг не понимая,
что смерть идёт со всех сторон.

Он падал медленно под креном
косого резкого угла.
Ещё медлительней по венам
кровь отворённая текла.

Сбежались люди, тишина нарушила
плевком холодного ствола.
А под его тяжёлой тушей
уже проталина цвела.

И рядом пыж валялся ватный
у чьих-то в мех обутых ног,
и потеплел — в багровых пятнах —
под тёплой лапою ледок...

Уже светало. Пахло хлебом,
овчиной, близким очагом.
А рядом волк лежал и в небо
смотрел тоскующим зрачком.

Он видел всё: рассвет и звёзды,
людей, бегущих не спеша,
и даже этот близкий воздух,
которым больше не дышать.

Голодной крови тёплый запах
тревожил утреннюю рань,
и нервно сокращалась в лапах
рывками мускульная ткань.

Бежали судороги в теле,
в снег ртутью падала слеза,
а в небо синее смотрели
большие серые глаза...

ЕГО ГЕРОИ

Здесь подлецы и казнокрады,
свиньи рыла и подлог.
Чинуши, ждущие награды,
царя владетельный сапог.
Здесь городничих легионы
суды негласные вершат.
Здесь мелких тварей миллионы
вприпрыжку в ведомства спешат.
Секут детей. Считают деньги.
Сбивают цены. Спорят. Лгут,
бород заржавленные веники
уткнув в свой приторный уют.
Здесь держиморды с их замашкой.
Здесь даже вор бывает прав.
Здесь сам Ноздрёв играет в шашки
и шашки пичкает в рукав...
...И сколько их,
пустых святош,
среди отъявленных уродов,
один с другим, как капля, схож!

ТУТ ГОРЬКИЙ ЖИЛ

*(На просмотре фильма
«Детство Горького»)*

Тот дом, что смотрит исподлобья
В сплетенье жёлтых косяков,
Где люди верят лишь в снаидолья,
В костлявых ведьм да колдунов,
Где, уставая от наитий,
Когда дом в дрёму погружён,
День начинают с чаепитий,
Кончают дракой и ножом;
Где дети старятся до срока,
Где только ноют да скорбят,
Где старики сидят у окон
И долго смотрят на закат,
Где всё вне времени и места,
Где лишь кулак имеет вес,
Где перезревшие невесты
Давно уж вышли из невест.
Где всё на правду не похоже
И что ни делают — всё злость!
Где с первобытным рвением гложут
Нужды заплёванную кость,
Где ближний ближнего обмерит,
Где счастлив тот лишь, кто в гробу,
И где уже никто не верит

Ни в ложь,
ни в правду,
ни в судьбу,
Где возведён в закон обычай
Ничтожной горсточкой задир,
Где каждый прав и пальцем тычет,
Что он плюёт на здешний мир,
Где нищету сдавили стены,
Где люди треплют языком,
Что им и море по колено,
Когда карман набит битком,
И где лабазник пьёт, не тужит,
Вещает миру он всему,
Что он дотоле с богом дружит,
Пока тот милостив к нему,
Где, как в игрушку, в жизнь играют,
Обставив скаредный уют,
Где детям петь не позволяют
И небо видеть не дают,
Где людям не во что одеться,
Где за душой — одни портки,
Где старики впадают в детство,
А дети метят в старики, —
Пусть я хотел, хотел до боли
Пересказать всё чередом,
Я не сказал и сотой доли
Того, чем славен этот дом.
Его я видел на экране,
Он в сквозняке, он весь продрог.
Тот дом один стоит на грани,
На перекрёстке двух эпох.

ОТЦАМ

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щёк. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.

В нём не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с жёлтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.

Был стол в далёкий угол отодвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.
Солдат худые, сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство...
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать.
И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают
В дверях жандарм, солдаты и отец...
А дальше — путь сплошным туманом застлан.
Запомнил: только плыли облака,
И пахло деревянным маслом

От жёлтого, как лето, косяка.
Ужасно жгло. Пробило всё навылет
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.
Потом войну кому-то объявили,
А вот кому — запамятали дед.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами.
Глаза мои обращены на всех.

СМЕРТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

В шершавом, вкривь надписанном конверте
Ему доставлен приговор, и он
Искал слова, вещавшие о смерти,
К которой был приговорён.
Пришли исполнить тот приказ,
А он ещё читал,
И еле-еле
Скупые строчки мимо глаз,
Как журавли, цепочками летели.
Он не дошёл ещё до запятой,
А почему-то взоры соскользали
Со строчки той, до крайности крутой,
В которой смерть его определяли.
Как можно мыслю вдаль не унести,
Когда глаза, цепляясь за жизнь,
Встречают только вскинутое дуло.
Но он решил, что это пустяки,
И, будто позабыв уже о смерти,
Не дочитав томительной строки,
Полюбовался краской на конверте
И, встав во весь огромный рост,
Прошёл, где сосны тихо дремлют.
В ту ночь он не увидел звёзд:
Они не проникали в землю.

Не надо слов. Их много здесь говорено —
Всё перебрали, оценили здесь.
Ведь жизнь останется навеки неповторенной,
Короткой,
как оборванная песнь.

Моя земля — одна моя планета,
Она живёт среди ночей и звёзд.
Мне говорят, что путь бойца-поэта
В её ночных не очень будет прост.
Но я иду.



Д. Чуп. Поле осенью

БАЛЛАДА О ЧКАЛОВЕ

Всего неделю лишь назад
Он делал в клинике доклад.
Он сел за стол напротив нас,
Потом спросил: «Который час?»
Заговорив, шёл напролом,
И стало тесно за столом.
И каждый понял, почему
Так тесно в воздухе ему.
И то ли сон, горячка то ль,
Но мы забыли вдруг про боль.
Понять нельзя и одолеть,
Как можно в этот день болеть.
Врачи забыли про больных,
И сёстры зря искали их.
Иод засох и на столе
Лежал как память о земле,
Где людям, вышедшим на смерть,
Хоть раз в году дано болеть.
Докладчик кончил. И потом
Он раны нам схватил бинтом,
Он проводил нас до палат.
Ушёл. И вот — пришёл назад.

И врач склонился над столом,
Над ним — с поломанным крылом.
И было ясно, что ему
Теперь лекарства ни к чему.
И было тихо. Он лежал
И никому не возражал.
Был день, как он, и тих, и прост,
И жаль, что нету в небе звёзд.
И в первый раз спокойный врач
Не мог сказать сестре: «Не плачь».

УТРАТА

В тот день холодным было небо.
Прохожий торопил свой шаг.
Ещё с карнизов спущен не был
С каймою траурною флаг.
Мороз щипал до боли лица.
И на окраине, у рвов,
Закоченевшие синицы
Валились наземь с проводов.
И не спалось. И было жёстко,
Кровать как ком сухой земли.
И три морщины вперекрёстку
На лбу товарища легли.
Он повернулся — в каплях пота —
И скрылся зябко в полумглу.
Метнулась тенью самолёта
От лампы тень его в углу.
А утром — радио, газеты,
Печаль моей большой страны,
И всем знакомые портреты
В бордовый шёлк окаймлены.

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землёй накрыли,
Как ощущенье вечной высоты,
Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгравировать им рано —
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути —
Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память ими взятой высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

Рассвет сочился будто в сите,
Когда в звенищем серебре
Рванулся резко истребитель
Косым движением к земле.

Пилот, в бесстрашье шансы взвесив,
Хватался в спешке за рули,
Но все дороги с поднебесья
К суровой гибели вели.

И с жаждой верной не разбиться,
Спасая в виражах мотор,
Хотел он взмыть, но силу птицы
Презрели небо и простор.

Она всё тело распластала,
Скользя в пространстве на крыле,
И вспышкой взрыва и металла
Жизнь дрогорела на земле.

...А сила ветра так же крепла.
Восходом солнца цвёл восток,
И на земле сквозь дымку пепла
Пробился утренний цветок.

Уже истлели тело, крылья,
Но жизнь, войдя с людьми в родство,
Презрев пред гибелю бессилье,
Своёправляла торжество.

Как прежде, люди в небо рвались
В упорной жажде высоты.
А в небе гасли, рассыпались
Звёзд изумрудные цветы.

И пахли юностью побеги
Ветвей. Прорезав тишину,
Другой пилот в крутом разбеге
Взмыл в голубую вышину.

Мир был по-прежнему огромен,
Прекрасен, радужен, цветист;
И с человечьим сердцем вровень
На ветке бился первый лист.

И, не смущаясь пепла, тлена,
Крушенья дерзостной мечты,
Вновь ликовала кровь по венам
В упорной жажде высоты!

В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА

Иди познай людское дело
И в мавзолей войди, как в жизнъ, —
Рукой дрожащей и не смелой
Его бессмертия коснись.
Здесь всех основ лежат начала.
Мы знаем, что и он любил.
Он тоже был живым сначала
И этой площадью ходил.
По тем же стёршимся ступеням...
Но как ни мудрствуй, ни пиши,
Ты не вместишь в названье ЛЕНИН
Вселенский взмах его души.
Пройди весь мир насквозь и снова
Вернись к нему, и у Кремля
Тебя согреет этим словом
Его родившая земля.
Им каждый подвиг наш пронизан,
И он во всём, чем мы живём,
Он нам необходим и близок —
Мы в нём бессмертье узнаём.

ИЗБА

Косая. Лапами в забор
Стоит. И сруб сосновый воет,
Когда ветра в нутро глухое
Заглянут, злобствуя, в упор.

Зимой всё в инее и стуже,
Ослабив стёкла звонких рам,
Живот подтягивая туже,
Глядит на северный буран.

Кругом безлюдье. Хоть кричи!
Стоит, как на дороге нищий.
И тараканы стаей рыщут
В пустой отдушине печи.

Метели подползают ближе.
И вдруг рванут из-под плетня,
Холодным языком облизнут
В хлеву хозяйствского коня.

А сам хозяин, бледнолицый,
Окутан кем-то в белый холст,
Лежит в гробу на половицах,
В окамененье прям и прост.

В окошко свет скупой бросая,
Глядит луна в его судьбу,
И ветры жутко потрясают
Его сосновую избу.

Здесь, по соседству с белым гробом,
В ногах застывших мертвца,
За полночь я родился, чтобы
Прославить мёртвого отца.

Чуть брезжил свет в разбитых окнах.
Вставал, заношений до дыр,
Как сруб, глухой и душный мир,
Который был отцами проклят,
А нами перевёрнут был.

НА ПЛОТУ

Тихо.
Скучно.
Как в скиту.
Машет сумрак чёрным пледом.
И за мною на плоту
кто-то тенью ходит следом.

Связь мочальная на брёвнах
в слизь размокнет, и тогда
станет слышно,
как неровно
бьёт в прибрежный мол вода.

Я плыву...
Тяжёлым илом
обрастает утлы́й плот.
Слышно, будто по стропилам
кто-то ходит взад-вперёд.

Оглянусь —
и лишь увижу:
где маячат фонари, —
горизонт на пальцы нижет
кольца красные зари.

ДОЖДЬ ПРОШЁЛ

Врёшь, сестра, —
Мне жить с тобой не вместе!
Не стыди ты парня,
Что с утра
Потянуло к розовой невесте,
Как к вратам апостола Петра.
Снится мне она в подушках белых,
В жёлтых лентах,
В бусах из стекла,
И идёт от царственного тела
Запах еле слышного тепла.
Вот она!
Её не жалят змеи,
К ней в ладони падают орлы,
Я б взглянул,
Да — глаз поднять не смею,
Что-то веки дюже тяжелы.
Крылья рук её порозовели.
Чтоб скучать царевне не пришлось,
Там садовник
Гармонист Савелий
Ходит с лейкой
Промеж двух берёз.
Грядок нет,
А есть трава густая,
Так густа,
Что только, охнув, лечь...

Слушай — ты!
Садовника оставим,
Не о нём завёл я эту речь.
На меня повеяло ветрами.
Золотой,
Нездешней стороны.
...Дождь пошёл,
И бьются стёкла в раме.
На Неве мосты разведены.



М. Соколов. Дама

Дыша табачным перегаром,
смежив усталые глаза,
я жду последнего удара
твоих ресниц, моя гроза.

Он близок, тот удар. Он близок.
Я жду, от счастья онемев,
когда ты бросишь этот вызов,
вполоборота посмотрев.

И будет он неотразим,
великолепен, неминуем, —
пощёчиной иль поцелуем
он мне уж слышится вблизи.

Как ты, упрям и привередлив,
я жду...
Молчанье. Вздохи лишь.
Ударь, ударь: опасно медлить,
когда над пропастью висишь...
Окно и осень. Стены в пакле.
Ширяет ветер — лют и храбр...
Тобою дни мои пропахли,
как стеарином — канделябр.

ВЕТЕР

Сквозной, он шёл наперерез
жаре. И вопреки июльской лени
он взмыл в сухое небо. Лес
упал, взмолившись, на колени.

И с неба солнце пало в заводь:
неподалёку — так светла —
с полузакрытыми глазами
на пляже женщина спала.

Был след руки, как ложе мола,
и пели путанно пески,
как ныла в этом сгибе голом
боль тяжелеющей тоски.

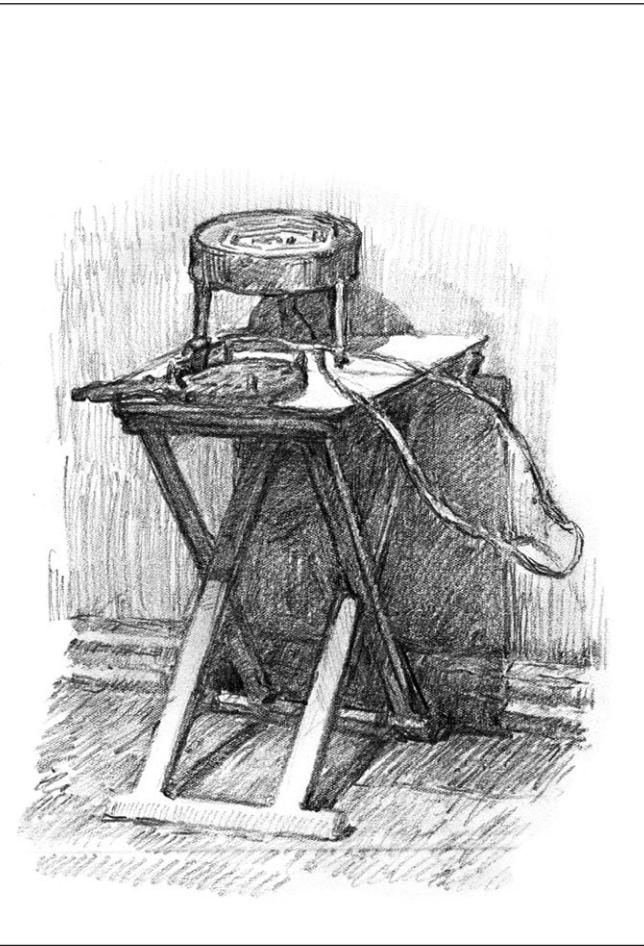
Тоски по лету, по воде,
по дрожи стёсаных уключин,
по крику детскому. Но где
тот ветер счастью был научен?

СТОЛ

Пусть не широк он. В пятнах. Пусть.
Но он стоит с таким упорством,
что забываешь сон и грусть
в уюте мизерном и чёрством.

С ним по соседству — абажур,
который хлопает глазами,
когда, усталый, я гляжу
на стол, заваленный стихами...

Д. Цул. Электроплитка на складном столике



/1938/ 97

Мне снился юг и кипарисы,
косматый берег...

А внизу
каскады водопада висли
в одну громадную слезу.

Ещё какой-то странный запах,
старик с заснежьем на виске,
воли убегающие лапы
на буром вымокшем песке.

И древний опалённый камень
с резьбой искусного резца,
в грудь недр вцепившийся руками
последней хваткой мертвеца.



M. Соколов. Берег с лодками

С чьей жизнью
жизнь свою соизмерять?
Любая жизнь, наверно, что-то стоит...
Здесь каждый любит ближнего ругать
Для своего лишь тёплого покоя.

Стихотворения 1939 года

Как жил, кого любил, кому руки не подал,
С кем дружбу вёл и должен был кому —
Узнают все,
Раскроют все комоды,
Разложат дни твои по одному.

РЕМБРАНДТ

В таверне дым, в кармане ни флорина.
 Рембрандт ногтями стукает о стол,
 Любяясь переливами графина,
 Косым лучом, упавшим на подол
 Красотки местной. Пиво на исходе.
 Матросы просят рома, ну, а ром
 Теперь у бургомистров только в моде,
 А моряки привыкли пить ведром.
 Они сидят, нахохлившись, сутулясь,
 В своём углу и вспоминают вслух
 Вакханок с амстердамских улиц,
 Пустых жеманниц, безыскусных шлюх.
 А старый штурман, отойдя к окошку,
 Едва держась, как будто невзначай,
 Красотке, несшей на подносе чай,
 Жмёт с вожделением пухленькую ножку.
 Глухой маньяк, желающий не меньше,
 Чем этот штурман, в давке, на лету
 За полфлорина амстердамских женщин
 Ловить, как птиц, порхающих в порту,
 Глядит, трезвея, зло на моряка...
 Меж тем Рембрандт, взобравшись на подмостки,
 Двумя-тремя штрихами с маньяка
 Сухим огрызком делает наброски.
 Потом идёт. Теперь проспаться где бы?
 Уснув, как грузчик, видит на заре
 Матросами заплёванное небо
 И слышит грусть шарманки во дворе.

ОТЕЛЛО

Пусть люди думают, что я трамвая жду,
 В конце концов, кому какое дело,
 Что девушка сидит в шестом ряду
 И равнодушно слушает «Отелло».
 От жёлтой рампы люди сатанеют.
 Кто может девушке напомнить там,
 Что целый год ищу её, за нею,
 Как этот мавр, гоняясь по пятам.
 Когда актёры позабыли роли
 И — нет игры, осталась лишь душа,
 Партер затих, закрыл глаза от боли
 И оставался дальше, не дыша.
 Как передать то содроганье зала,
 Когда не вскрикнуть было бы нельзя.
 Одна она с достоинством зевала,
 Глазами вверх на занавес скользя.
 Ей не понять Шекспира и меня!
 Вот крылья смерть над сценой распростёрла.
 И, Кассио с дороги устрани,
 Кровавый мавр берёт жену за горло.
 Сейчас в железы закуют его,
 Простится он со славой генерала,
 А девушка глядела на него
 И ничего в игре не понимала.

Когда ж конец трагедии? Я снова
К дверям театра ждать её иду.
И там стою до полчаса второго.
А люди думают, что я трамвая жду.

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вынужу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И всё ж любить её — такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утрення почта
Чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Её «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатье.
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
Крамольной тьмы. Потом опять
Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа,
Не помнить снов. Хотя б крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сызнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,

Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, не досчитаться писем,
Не чтить посолов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не достигал, —
Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать её.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество моё!

НА РЕКЕ

Плыту вслепую. Многое не вижу,
А где-то есть конец всему и дно.
Плыту один. Всё ощутимей, ближе
Земля и небо, слитые в одно.
И только слышно, там, за поворотом
Торчащих свай, за криками людей,
Склоняясь к воде с мостков дощатых, кто-то
Сухой ладонью гладит по воде.
И от запруд повадкой лебединой
Пройдёт волна, и слышно, как тогда
Обрушится серебряной лавиной
На камни пожелтевшая вода.
И хорошо, что берег так далёко.
Когда взгляну в ту сторону, едва
Его я вижу. Осторожно, боком
Туда проходит стаями плотва.
А зыбь воды приятна и легка мне...
Плотва проходит рукавом реки
И, обойдя сухой камыш и камни,
Идёт за мост, где курят рыбаки.
Я оглянусь, увижу только тело
Таким, как есть, прозрачным, наявл., —
То самое, которое хотело
Касаться женщин, падать на траву,
Тонуть в воде, лежать в песке у мола...
Но знаю я — настанет день, когда
Мне в первый раз покажется тяжёлой
Доныне невесомая вода.

АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, — где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глохно падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалась мне вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок —
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно —
Вот так, храня стремление одно,
Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды
(А жизнь идёт!), — всё глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,

До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилие, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьёт из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает
На сизых листьях тёплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери — воды.

МОЙ ОТЪЕЗД

Мы рано вышли на вокзал. Хотелось плакать.
 Я уезжал всего с единственным свёртком
 В вагоне, от которого несло кочевьем,
 Чужою жизнью, спальней и ещё
 Таким, чего не мог бы я понять,
 Когда б не заспанные лица пассажиров,
 Которые глядели из окна.
 Шёл снег. Он был так ласков и пухист.
 Так мягко падал к девушке на веки,
 Что даже слёзы были ни к чему.
 Я посмотрел в глаза её. Ну что же,
 Ещё остались письма, от которых
 Мог покраснеть бы даже почтальон,
 Привыкший, заслепя глаза, на память
 Импровизировать несложный лепет писем,
 В которых мы (нам это показалось)
 О счастье некрасиво говорили.
 Вот и звонок. Весёлый проводник
 Вздохнёт — ему ведь так хотелось
 Хотя бы раз сойти за пассажира.
 Ну, вот и всё. Её глаза просили
 Остаться и уйти с вокзала в вечер,
 В те дальние немые переулки,
 Где люди не могли заметить слёз,
 Дрожанья рук и сбивчивых ответов,
 Которыми я выразил любовь.

И что сказать? Я вспомнил жизнь, в которой
 Так мало было настоящих дней.
 Пойми меня, — с тобой я понял счастье,
 Не то, что в книгах вычитали мы
 И о котором в детстве нам твердили.
 Я понял жизнь.

Она всегда жестока,
 Как пытка непомерная, страшна,
 Но это — жизнь. Войду в вагон и людям
 О счастье быть влюблённым расскажу.



Д. Цул. На железнодорожных путях

На третьей полке сны запрещены.
Худой, небритый, дюже злой от хмеля,
Спал Емельян вблизи чужой жены
В сырую ночь под первое апреля.
Ему приснилась девка у столба,
В веснушках нос, густые бабы косы.
Вагон дрожал, как старая изба,
Поставленная кем-то на колёса.

В ВАГОНЕ

Пространство рвали тормоза.
И ночь пока была весома,
Все пассажиры были за
То, чтобы им спалось, как дома.

Лишь мне не снилось, не спалось.
Шла ночь в бреду кровавых марев
Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь
Гнетущий привкус дымной гари.

Всё было даром, без цены,
Всё было так, как не хотелось, —
Не шёл рассвет, не снились сны,
Не жглось, не думалось, не пелось.

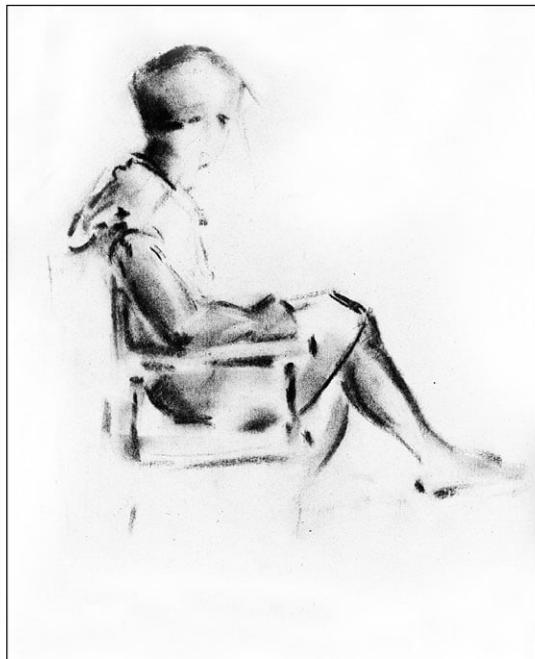
А я привык жить в этом чреве:
Здесь всё не так, здесь сон не в сон.
И вся-то жизнь моя — кочевые,
Насквозь прокуренный вагон.

Здесь теснота до пота сжата
Ребром изломанной стены,
Здесь люди, словно медвежата,
Вповалку спят и видят сны.

Их где-то ждут. Для них готовят
Чай, постели и тепло.
Смотрю в окно: ночь вздохи ловит
Сквозь запотевшее стекло.

Лишь мне осталось грустить.
И, перепутав адрес твой,
В конце пути придумать стих
Такой тревожный, бредовой...

Чтоб вы, ступая на перрон,
Познали делом, не словами,
Как пахнет женщиной вагон,
Когда та женщина не с вами.



Б. Пророков. Лист из альбома

РАССКАЗЫ,
которые могут быть приняты за стихи

1

У него, как у глобуса, одна нога,
И женщины, которые встречают его,
Напоминают ему об этом глазами, —
Ни одна из них не хочет принадлежать ему,
Спать с ним в одной постели
И греть ему единственную ногу.
Это получается так потому,
Что рядом ходят
Весёлые штабные мальчики,
У них томные глаза,
А усы напоминают
Вскинутые в небо оглобли
Брошенной каким-то незадачливым беженцем телеги.
У них руки и ноги на месте,
А что ещё необходимо женщинам,
Которые третий год не видели мужей,
Забыли цвет их глаз
И не помнят их больше, как живых?
Он теперь на всё озлоблен,
Он видит, как страдают солдатки,
От которых деревянным костылём
Он отгоняет по вечерам назойливых штабных.
И как плохо, что он помнит себя молодым, —
Девушки с завистью смотрели вслед ему,

Когда он не спеша,
Докуривая отцовскую трубку,
Шёл за село, на мельницу,
Где светловолосая, невозможная русалка
Называла его:
«Ты — мой».
Он знает: теперь не будет больше этого.
Вот почему он очень рано сегодня
Отправился на свой сеновал, —
Эта ночь, как и завтра, и послезавтра, не для него,
И как обидно, что костыль вечно будет стучать
в сухую землю.

2

Я выхожу на улицу,
И первый попавшийся мне на глаза круглый фонарь
Напоминает розовую плеши нашего управдома,
С которым я поругался сегодня
Из-за несчастного лифта,
Позволяющего себе двигаться только в одном,
Да и то ненужном направлении — к земле.
Я часто думаю, что было бы с нами,
Если бы мы не изобрели паровоза, радио,
Аэроплана, сложнейших машин
И прочих весьма интересных вещей,
Которые позволяют нам думать,
Что мы всё-таки умные.
Вчера один знакомый счетовод
Уверял меня, что мир до сих пор
Блуждал бы в хаосе цифр,

Если бы кто-то случайно не придумал деньги.
А я сказал ему, что это не так.
Тогда он ушёл в свою каморку,
Обозвав меня предварительно шёпотом.
Затем я услышал неприятное щёлканье —
Он снова работал на счётах.
Когда я об этом рассказал одной женщине,
Она долго хохотала, не подозревая,
Что в эту ночь ей приснится
Мой клетчатый шарф.

3

Он считал, что единственная профессия,
Которую позволительно иметь всякой женщине,
Это — стенография. Он был убеждён,
Что все великие пианисты, каких мы знаем,
Начинали со стенографии. Он в это верил,
И с ним нельзя было спорить,
Потому что, если б он узнал, что это — не так,
Он бросил бы свою жену,
Женщину положительную и, кажется, умную,
Владеющую в совершенстве искусством стенографии.

Мне только б жить и видеть росчерк грубый
 Твоих бровей. И пережить тот суд,
 Когда глаза солгут твои, а губы
 Чужое имя вслух произнесут.
 Уйди. Но так, чтоб я тебя не слышал,
 Не видел... Чтобы, близким не грубы,
 Я дальше жил и подымался выше,
 Как будто вовсе не было тебя.



М. Соколов. Женский портрет

ОДЕССКАЯ ЛЕСТНИЦА

Есть дивные пейзажи и моря,
 Цветут каштаны, выросли лимоны.
 А между нами, впрочем, говоря,
 Я не глотал ещё воды солёной.
 Не видел пляжа в Сочи, не лежал
 На пёстрой гальке в летнюю погоду,
 Ещё ни разу я не провожал
 В далёкий рейс морского парохода,
 Не слышал песен грузчиков в порту.
 Не подышал я воздухом нездешним,
 Не посмотрел ни разу, как цветут
 И зноем наливаются черешни.
 Не восходил к вершине с ледорубом,
 Не знал повадок горного орла.
 Ещё мои мальчишеские губы
 Пустыня древним зноем не сожгла.
 Ташкента не узнал, не проезжал Кавказа,
 Не шёл гулять с ребятами на мол.
 Ещё одесской лестницей ни разу
 Я к морю с чемоданом не сошёл.
 Мне двадцать лет. А Родина такая,
 Что в целых сто её не обойти.
 Иди землёй, прохожих окликая,
 Встречай босых рыбачек на пути,
 Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
 Ночуй в степи, не думай ни о чём,
 Пока верёвкой грубой не растёрло
 Твоё на славу сшитое плечо.

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

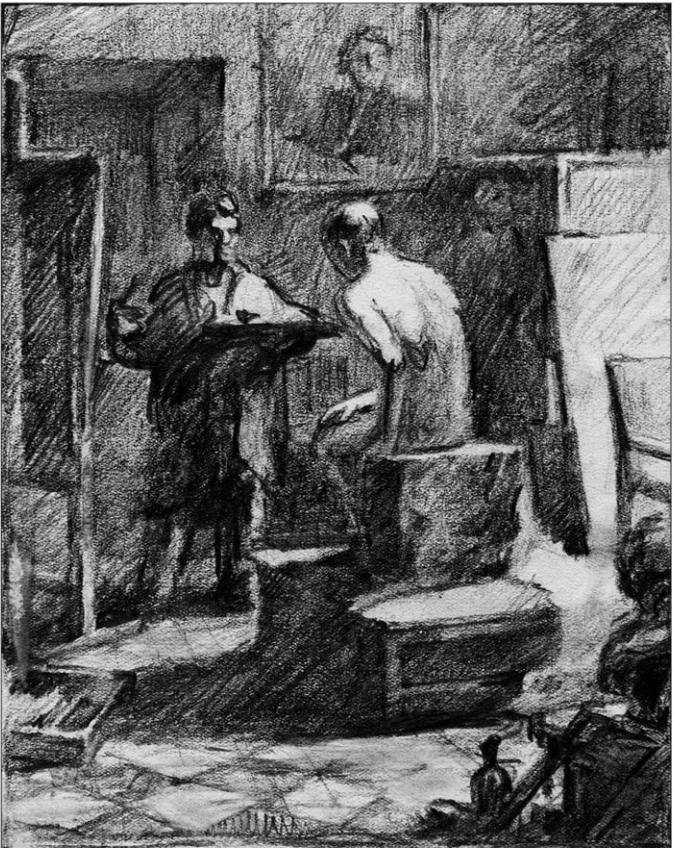
Когда подумать бы могли вы,
Что, выйдя к лесу за столбы,
В траву и пни ударит ливень,
А через час пойдут грибы?
И стало б видно вам отселе,
Лишь только ветви отвести,
Когда пойдёт слепая зелень
Как в лихорадке лес трясти.
Такая будет благодать
Для всякой твари! Даже птицам
Вдруг не захочется летать,
Когда кругом трава дымится,
И каждый штрих непостоянен,
И лишь позднее — тишина...
Так ливень шёл, смешая грани,
Меняя краски и тона.
Размыты камни. Словно бивни,
Торчат они, их мучит зуд;
А по земле, размытой ливнем,
Жуки глазастые ползут.
А детвора в косоворотках
Бежит по лужам звонким, где,
Кружась, плывёт в бумажных лодках
Пристрастье детское к воде.
Горит земля, и пахнет чаща
Дымящим пухом голубей,
И в окна входит мир, кипящий

Зелёным зельем тополей.
Вот так и хочется забыться,
Оставить книги, выйти в день
И, заложив углом страницу,
Пройтись босому по воде.
А после — дома, за столом,
Сверкая золотом оправы
Очки, рассказывать о том,
Как ливни ходят напролом,
Не разбирая, где канавы.



Д. Чул. Утреннее солнце. Успавцево

Д. Цул. В мастерской художника



/1939/ 121

ХУДОЖНИК

Ник. Шеберстову

Одно художник в сердце носит:
на глаз проверенным мазком
пейзаж плашмя на землю
бросить
и так оставить. А потом
всё взвесить, высчитать,
измерить,
насытиться ошибкой всласть,
почти узнав, почти поверив,
к концу опять в безверье впасть.
И так все дни.

И с риском равным
быть узнанным, взглянуть в окно.
Весь мир

принять вдруг за подрамник,
в котором люди — полотно.
И дать такую волю кисти,
так передать следы земли,
чтоб в полотне живые листья
шумели, падали, цвели.

Я знал тебя, должно быть, не затем,
 Чтоб год спустя, всему кладя начало,
 Всем забытьём, всей тяжестью поэм,
 Как слёз полон, ты к горлу подступала,

 Чтоб, как вина, ты после долго жгла
 И что ни ночь — тобою б только мнилось,
 Чтоб лишь к концу, не выдержав, могла
 Оставить блажь и сдаться мне на милость,

 Чтоб я не помнил этой тишины,
 Забыл про сон, про небо и про жалость,
 Чтоб ни угла, ни окон, ни жены
 Мне на твоей земле не оставалось.

 Но всё не так. Ты даже знать не можешь,
 Где началась, где кончилась гроза.
 Не так солжёшь, не так ладонь положишь,
 Совсем по-детски поглядишь в глаза.

 А я устал. За мною столько лестниц.
 Я перешёл ту верную межу,
 Когда все мысли сходятся на песне,
 Какой, должно быть, вовсе не сложу.

ГОГОЛЬ

...А ночью он присел к камину
 и, пододвинув табурет,
 следил, как тень ложилась клином
 на мелкий шашечный паркет.

Она росла и, тьмой набухнув,
 от жёлтых сплющенных икон
 шла коридором, ведшим в кухню,
 и где-то там терялась. Он
 перелистал страницы снова
 и бредить стал. И чем помочь,
 когда, как чёрт иль вий безбрóвый,
 к окну снаружи липнет ночь,
 когда кругом — тоска безлюдья,
 когда — такие холода,
 что даже мёрзнет в звонком блюде
 вечер забытая вода?

И скучно, скучно так ему
 сидеть, в тепло укрыв колени,
 пока в отчаянном дыму,
 дрожа и корчась в исступленьи,
 кипят последние поленья.

Он запахнул колени пледом,
 рукой скользнул на табурет,
 когда, очнувшись от бреда,
 нашупал глазом слабый свет

в камине. Сердце было радо
той тишине.
Светает — в пять.
Не постучавшись, без доклада
ворвётся в двери день опять.
Вбегут докучливые люди,
откроют шторы, и тогда
всё в том же позабытом блуде
чуть вздрогнет кольцами воды.
И с новым шорохом единым
растает на паркете тень,
и в оперенье лебедином
у ног её забьётся день...
Нет, нет, — ему не надо света!
Следить, как падают дрова,
когда по кромке табурета
рука скользит едва-едва...
В утробе пламя жажду носит
заметить тот порыв один,
когда сухой рукой он бросит
глухую рукопись в камин.
...Теперь он стар. Он всё прощает
и, прослезясь, глядит туда,
где пламя жадно поглощает
листы последнего труда.

Он делал стулья и столы
и, умирая уже готовясь,
купил свечу, постлал полы,
гроб сколотил себе на совесть.

Свечу поставив на киот,
он лёг поблизости с корытом
и отошёл. А чёрный рот
так и остался незакрытым.

И два громадных кулака
легли на грудь. И тесно было
в избёнке низенькой, пока
его прямое тело стыло.

ЧТО Я ВИДЕЛ В ДЕТСТВЕ

Косых полатей смрад и вонь.
 Икона в грязной серой раме.
 И средь игрушек детский конь
 С распоротыми боками.
 Гвоздей ворованных полсвязки.
 Перила скользкие. В углу
 Оглохший дед. За полночь — сказки.
 И кот, уснувший на полу.
 Крыльцо, запачканное охрой.
 И морды чалых лошадей.
 Зашитый бредень. Берег мокрый.
 С травой сцепившийся репей.
 На частоколе чёрный ворон,
 И грядка в сорной лебеде.
 Река за хатою у бора,
 Лопух, распластанный в воде.
 Купанье — и попытка спеться.
 На берегу сухая дрожь.
 Девчонка, от которой ждёшь
 Улыбки, сказанной от сердца.

...Всё это шло, теснилось в память,
 Врывалось в жизнь мою, пока
 Я не поймал в оконной раме
 В тенётах крепких паука.
 О, мне давно дошло до слуха:
 В углу, прокисшем и глухом,

В единоборстве билась муха
 С большим мохнатым пауком.
 И понял я, что век от века,
 Не вняв глухому зову мук,
 Сосал, впиваясь в человека,
 Огромный холеный паук.

И я тогда, давясь от злобы,
 Забыв, что ветер гнал весну,
 Клялся, упёршись в стенку гроба,
 В котором отчим мой уснул.
 Клялся полатями косыми,
 Страданьем лет его глухих,
 Отмщением, предками босыми,
 Судьбой обиженного сына,
 Уродством родичей своих, —
 Что за судьбу, за ветошь бедствий
 Спрошу я много у врага!

Так шло, врывалось в память детство,
 Оборванное донага.



Н. Сёкирин. Рисунок к картине 'В госпитале'

/1939/ 129

В ГОСПИТАЛЕ

Он попросил иссохшим ртом воды.
Уж третий день не поднимались веки.
Но жизнь ещё оставила следы
В наполовину мёртвом человеке.

Под гимнастёркой тяжело и грубо
Стучало сердце, и хотелось пить.
И пульс немного вздрагивал, а губы
Ещё пытались что-то говорить.

Врачи ему при жизни отказали.
Он понял всё: лекарства ни к чему.
В последний раз он попросил глазами —
И пить тогда не подали ему.

Хотелось выйти в улицы, на воздух.
Локтями дверь нечаянно задеть.
А ночь была такая, что при звёздах
Ему не жалко было умереть.

Брату Алексею

Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь — дома, дороги, рвы,
Галдёж, истошный запах хлеба
Да посвист праздничной травы.

И как ни рвусь я в поднебесье,
Вдоль стен по комнате кружка,
Мне не подняться выше лестниц
И крыши восьмого этажа.

Земля, она всё это помнит,
И хоть заплачь, сойди с ума,
Она не пустит дальше комнат,
Как мать, ревнива и прямая.

Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.

И через тьму сплошных догадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придёт потом.

Нам ремесло далось не сразу —
Из тьмы неверья, немоты
Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.

Шли напролом, как входят в воду:
Жизнь не давалась, но её,
Коль не впрямую, так обходом
Мы всё же брали, как своё.

Куда ни глянь — сплошные травы,
Любая боль была горька.
Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.



М. Соколов. Пейзаж с деревом

ПЕСНЯ

Её сложил маляр, а впрочем,
 Она, быть может, потому
 Портовым нравилась рабочим,
 Что за неё вели в тюрьму.
 Ломали пальцы, было мало —
 Крошили зуб, грозили сжечь.
 Но и в огне не умирала
 Живая песенная речь.
 Матросы взяли песню эту
 И из своей родной земли,
 Бродя волной морской по свету,
 В чужую землю завезли.
 А тот маляр потом был сослан.
 Бежал. На озере одном
 Он пойман был, привязан к вёслам
 И вместе с лодкой шёл на дно.
 И, умирая, вспомнил, видно,
 Свой край, и песню, и жену.
 Такую песню петь не стыдно,
 Коль за неё идут ко дну.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Неужто мы разучимся любить
 и в праздники, раскинувши диваны,
 начнём встречать гостей и церемонно пить
 холодные кавказские нарзаны?
 Отяжелеем. Станет слух наш слаб.
 Мычать мы будем вяло и по-бычыи.
 И будем принимать за женщину мы шкап
 и обнимать его в бесполом безразличьи.
 Цепляясь за разваленный уют,
 мы в пот впадём, в безудержное мленье.
 Кастратами потомки назовут
 стареющее наше поколенье.
 Без жалости нас время истребит.
 Забудут нас. И до обиды грубо
 над нами будет кем-то вбит
 кондовый крест из тела дуба.
 За то, что мы росли и чахли
 в архивах, в мгле библиотек,
 лекарством руки наши пахли
 и были бледны кромки век.
 За то, что нами был утрачен
 сан человечий; что, сконцы,
 мы понимали мир иначе,
 чем завещали нам отцы.
 Нам это долго не простится,
 и не один минутят век,
 пока опять не народится
 забытый нами Человек.

РЕВНОСТЬ

Что вспомнил я?.. Самцов тупую похоть,
чужую нежность, ревности петлю
иль руку, обнажённую по локоть,
той женщины, с которой я не сплю?

Но что б ни вспомнил —
я тебя не видел.

Простое любопытство истребя,
я даже пальцем, жестом не обидел, —
лишь взгляд отвёл в восторг от тебя.

Я вздрогнул лишь. И вновь, как полумёртвый,
я в третий раз пытался подойти
к твоим рукам и вздохам, и в четвёртый
почти что подошёл. Почти.

Я знал тебя. Ты здесь. Ты где-то рядом.
Я знал, что расстоянье — как и смерть —
между прикосновением и взглядом
не каждому дано преодолеть.

И я прошёл. Не задевая. Мимо.
Забыв дышать. Шагами мертвеца.
Так с папирос — почти неразличимы —
косые струйки розового дыма
проходят мимо твоего лица.

Я знать хочу — я вовсе не ревную, —
придёт ли тот герой, кому, смеясь,

ты разрешишь любить тебя вплотную,
касаний грубых пальцев не боясь?

Всё просто так:
чужие видеть губы,
хотеть касаться их и, не любя,
одной рукой,
одним движеньем грубым,
одним лишь жестом
взять суметь тебя.

/1939/ 137

В ГРОЗУ

Он с моря шёл, тот резкий ветер,
Полз по камням и бил в глаза.
За поворотом свай я встретил
Тебя. А с моря шла гроза.
Кричали грузчики у мола,
И было ясно: полчаса
Едва пройдёт, как сон тяжёлый,
И вздрогнет неба полоса.
И гром ударит по лебёдкам.
Мне станет страшно самому.
Тогда, смотри, не выди к лодкам:
В грозу и лодки ни к чему.
А ты пришла. Со мной осталась.
И я смотрел, запрятав страх,
Как небо, падая, ломалось
В твоих заплаканных глазах.
Смешалось всё: вода и щебень,
Разбитый ящик, пыль, цветы.
И, как сквозные раны в небе,
Разверзлись молнии. И ты
Всё поняла...



Б. Пророков. Лист из альбома

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Приду к тебе и в памяти оставлю
Застой вещей, идущих на износ,
Спокойный сон ночного Ярославля
И древний запах бронзовых волос.
Всё это так на правду непохоже
И вместе с тем понятно и светло,
Как будто я упрямее и строже
Взглянул на этот мир через стекло.
И мир встаёт — столетье за столетьем,
И тот художник гениален был,
Кто совершенство форм его заметил
И первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
И грубый корм свой поднося к губе,
И кутаясь в тепло звериной шкуры,
Он первый раз подумал о тебе.

Он слышал голос ветра многоустый
И видел своды первозданных скал.
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
И образ твой в пещере изваял.

Пусть истукан массивен был и груб
И походил скорей на чью-то тушу.
Но человеку был тот идол люб:
Он в каменную складку губ
Всё мастерство вложил своё и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаясь,

Он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где бы теперь он ни был,
Куда бы ни шёл, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людямбросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября,
Что даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слёзы о прекрасном говоря.

Здесь всё не так.
 Здесь даже день короткий.
 У моря тоже свой диапазон.
 И мнится мне — моя уходит лодка,
 Впиваясь острым краем в горизонт.
 Я буду плыть. Забуду дом и берег,
 Чужие письма, встречи, адреса,
 Забуду землю, где цветут поверья.
 Где травы меркнут раньше, чем леса.
 Мне только б плыть,
 Мне надо очень мало:
 Простор и море, искорку огня
 Да имя то, которым называла
 Ты у шалльного берега меня.
 Вот и сейчас мне мнится —
 На закате
 Уходит лодка. Верный взмах весла.
 И тот же голос слышится, и платье
 То самое, в котором ты была.
 Придёт гроза,
 И встанет ночь в прибое.
 Последний довод к жизни истребя,
 Доколе плыть я буду за тобою,
 За светлым небом, блузкой голубою?
 Иль, может, вовсе не было тебя?

Стихотворения 1940 года

ПЕРВЫЙ СНЕГ

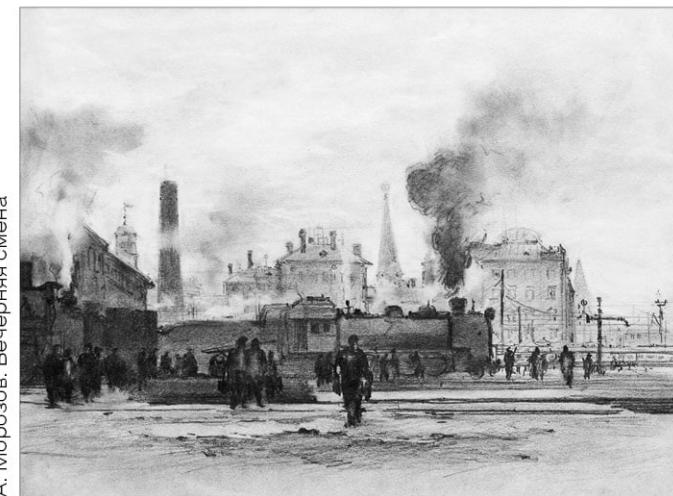
Как снег на голову средь лета,
 Как грубый окрик: «Подожди!»,
 Как ослепление ярким светом,
 Был он внезапен. И дожди
 Ушли в беспамятство. Останьтесь.
 Подвиньте стул. Присядьте. Вот
 Мы говорим о постоянстве,
 А где-то рядом снег идёт.
 И нет ни осени, ни лета,
 Лишь снег идёт.

В тот день, когда я был ещё не твой,
В содружестве с кочевьем и вокзалом
Я думал жизнь прожить, а под Москвой
Ещё был лёд и пахло снегом талым.

Ещё с утра по дачным этажам
Летел галдёж, детей душила зависть,
И гребни льдин, подобные ножам,
Ещё в речные отмели вонзались.

Ещё художник, холст в окне развесив,
Соразмерял свой вид на карандаш,
Чтоб догадаться, был ли интересен
Плашмя на землю брошенный пейзаж.

И, может быть, того весна хотела,
Что в этот день, без повода, без дела
Бродя по комнатам, не видя зла ни в чём,
Стекло в окне, в которое глядела,
Ты продавила розовым плечом.



A. Морозов. Вечерняя смена

ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,
 Уменье созидать,
 На камень камень класть,
 Вести леса строений.
 Не спать ночёй, по суткам голодать,
 Вставать до звёзд и падать на колени.
 Остаться нищим и глухим навек,
 Идти с собой, с своей эпохой вровень
 И воду пить из тех целебных рек,
 К которым прикоснулся сам Бетховен.
 Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
 Весь мир вместить в дыхание одно,
 Одним мазком весь этот лес и камни
 Живыми положить на полотно.
 Не дописав,
 Оставить кисти сыну,
 Так передать цвета своей земли,
 Чтоб век спустя всё так же мяли глину
 И лучшего придумать не смогли.

АВГУСТ

Ты для меня и музыка, и сон,
 Последний снег, осенняя прохлада,
 И всплеск последний града,
 И ночь, что подступает под балкон
 Великолепьем августовским сада.

Я весь в тебе. Давай поговорим,
 Пока мы здесь вдвоём, неотделимы.
 Как дышим мы дыханием одним
 И не живём, а медленно горим
 И даже уловляем запах дыма.

Так навсегда меж нами повелось:
 Считать обидой лёгкое участие,
 Над чувствами не ставить выше власти,
 С ума сходить от бронзовых волос
 И шёпотом рассказывать о счастье.

Будь для меня постылою простудой,
 Будь горною тропою до небес.
 Я не спрошу, — зачем ты и откуда?
 Будь для меня одним великим чудом
 Из тех семи прославленных чудес!

Будь для меня и небом и землёй,
 Пошли на смерть, корми тяжёлым хлебом!
 Я всем плачу тебе: собой,
 Словами лучшими и славой ветровой,
 За эти руки, пахнущие небом!

Я был её. Она ещё всё помнит
 И скрип двери, и поворот ключа,
 Как на руках носил её вдоль комнат,
 Стихи про что-то злое бормоча.
 Как ни хитри,
 Она ещё не смела
 Забыть тот шёпот,
 Неземную блажь,
 И как бы зло она ни поглядела,
 Ты за неё не раз ещё отдашь
 И сон, и музыку,
 И книги с полок,
 И даже верность будущей жены.
 Она твоя, пока ещё ты молод
 И нет в твоём уюте тишины.

КОМНАТА

Вот она. Возьми её в ладони
 и согрей. Потом — одушеви.
 Путано. Тревожно. Как в вагоне,
 до ногтей прокуренном, — живи.

Так живи,
 чтобы каждый день твой выжил
 из дремотной комнатной пыльцы,
 чтобы где-то этажом лишь ниже
 про тебя злословили жильцы:
 тёти в кофтах. Пожилые дяди.

Так живи, чтобы плакать привелось
 ради дружбы с песнею и ради
 чьей-то пряди спутанных волос.

Ночь пройдёт. Она заденет краем
 абажур. А ты останься нем.
 Тени гибнут. Горбятся. Играют.
 Тени умирают на стене.

Д. Чул. Интерьер



/1940/ 149

Всё к лучшему. Когда прошла гроза,
Когда я в сотый раз тебе покаясь,
Мне не страшны ни плечи, ни глаза,
Я даже губ твоих не опасаюсь.

Начнёшь злословить? Пригрозишь отравой?
Про нашу быль расскажешь людям ложь?
Иль пронесёшь за мной худую славу
И подлецом последним назовёшь?

Мне кажется, что не пройдёт и года,
Как в сумерки придёшь ко мне опять
Зачем-то долго медлить у комода
И пепельницей в зеркало бросать.

Почто даётся буйство милым людям?
Когда пройдёт оно и, наконец,
Мы всё поймём и больше бить не будем
Ни пепельниц, ни стёкол, ни сердец?

КАК Я ЛЮБИЛ

Как я любил, о том расскажут после.
Но ведь искусство жить совсем не в том,
Чтоб ловко, мать, уметь казаться взрослым
И женщину любить с красивым ртом.

Всё это было и давно минуло.
Любовь коверкала, ломала, жгла
И — кончилось. И наша Мариула
С бродячими цыганами ушла.

Нам песни петь, а ей сквозь снег и слякоть
Водить медведя на цепи, навзрыд
Кричать в лицо прохожим, но не плакать,
Мир и от слёз не вздрогнет, устоит.

ЗОВ ЖИЗНИ

Был долгий бабий блуд на сеновале.
Пока чернело небо без стрижей, —
ворчались, потели, целовали
в тупые переносицы мужей.
А мужики лежали как пластины, —
дневная ноша плечи им растёрла.
Тяжёлые нательные кресты,
как тараканы, выбились на горло.
Сквозь крышу шёл густой полынный запах,
и прежде чем отдаваться вдоволь сну,
не торопясь, кузнец в тяжёлых латах
сжимал и тешил глупую жену.
Так мнёт горшечник розовую глину,
склоняясь над ней, как древний ворожей.
Так парни тащат за полночь к овину
бесстыжих хуторянок от мужей.
...Дорога шла вразвалку от села
за рожь, в кусты, в душистые осины.
Там девка парня статного вела,
в глаза глядела, за виски брала
и рассказать о звёздах не просила.
А ночь кружила их заросшей сечей,
глухим оврагом, спутанной травой —
в такую ночь нельзя было не лечь им
вблизи берёзы старой и кривой.
А что услышишь в тишину такую:
то ли влага бьёт в суху?
То ль тетерева токуют
в ночь такую на току?..

МОНОЛОГ СТАРОГО АКТЕРА

Я представлял Отелло в провинциальном театре,
И местные жители, которым было всё в диковинку,
Вплоть до жёлтой рампы, сходили с ума
от моей игры.
Возможно, это было искренно.
Но мне больше нравился
Бюст той женщины, которая
от имени местных театралов
Принесла мне на сцену цветы.
Я уже тогда знал, что умею нравиться
полным женщинам,
И вёл себя вызывающе, а женщины любят грубость.
Жизнь всегда опасна, и особенно
для людей с темпераментом.
В лучшие годы моей славы, когда меня
Уже приглашали в одну столичную труппу,
Я влюбился в актрису, которая играла Эмилию,
Верную служанку Дездемоны.
Из-за неё я отказался от приглашения
в столичную труппу,
И шёл, кажется, сотый спектакль,
Когда проклятый мавр, оставив Дездемону,
Погнался за Эмилией,
и пальцы его крепкой руки
Легли на горло неверной жены Яго.
Здесь зрители вмешались в пьесу
И унесли Эмилию мою... Она жива ещё,

Лишь горло чуть помято да
Голос хриплый выдаёт её.
После этого я не видел больше сцены,
И моими новыми зрителями,
Правда, не всегда внимательными,
Стали мои сотоварищи
по больнице душевнобольных.

Да простит мне старик Шекспир,
Что я нарушил действие великой
Правдивейшей трагедии земли!



Б. Лукин. Улица

ЭПИТАФИЯ

Прохожий,
У ног твоих могила неизвестного поэта,
К концу жизни он был в долгах,
Как в веснушках.
Его сосед — неутомимый весельчак,
Был почти что единственным читателем
его прекрасных стихов.

В них было много девушки и женщин, и от них,
страдающих подагрой,
Шёл винный запах.
Многие усмотрели в этом
Пример безнравственности и давно всем надоевшей
богемы.

Какой-то местный журналист, уважающий
из поэтов одного лишь Клопштока,
Написал о них негодную статейку.
Отсюда всё пошло:
Поэта осмеяли, и нередко,
Когда он проходил у светлых окон,
Ему на голову падали помои и безобидная
Цыплячья кожа апельсинов.
Но он продолжал жить...
Он знал женщин,
Увидев которых,
Мужчины в волнении роняли из рук трости.

На женщин ушла вся сила, молодость и деньги.
Умер он, подымаясь по лестнице на свой
четвёртый этаж, —
Любил высоту старина и никогда не пользовался
лифтом,
Хотел, чтоб смерть его застала у высот.

Я с поезда. Непроспанный, глухой.
 В кашне измятом, заткнутом за пояс.
 По голове погладь меня рукой,
 Примись ругать. Обратно шли на поезд.
 Грозись бедой, невыгодой, концом.
 Где б ни была — в толпе или в вагоне, —
 Я всё равно найду,
 Уткнусь лицом
 В твои, как небо, светлые
 Ладони.



Б. Пророков. Лист из альбома

Я знал одно —
 Куда милей кочевье.
 Спать на полу,
 Читать чужие книги,
 Под голову совать кулак иль камень,
 И песни петь —
 Тревожные, хмельные,
 Ходить землёй,
 Горячею от ливня,
 И славить жизнь...

ОБРЫВ

*Страсти крут обрыв,
Отойдите, — будьте добры.*

В. Маяковский

Чрез заросли полыни и крапивы
Мы шли вдвоём.
Дыханье пало с губ.
Шуршал песок, и где-то под обрывом
Кончалась ночь, которая в мозгу
Ещё живёт, ещё пестрит и рушит
Те доводы и ссылки на ничто,
Которых нет понятнее и суще.

Я рядом шёл. Она в моём пальто
Казалась лучше. Ей оно пришлось,
Как сну — фантазия и как слепому — посох.
А ветер в ночь, разбросанно и косо,
Сносил зелёный дым её волос.

Мы шли вдвоём.
Шуршал и падал гравий.
А где-то там, за мельницей, внизу
Пал водопад, и в пенистой оправе
Обрушил в ночь блестящую слезу.

А мы всё шли. И нам казалось мало.
Обрыв был близок.
Вот он.

И в пролёт
Глядит скула старинного обвала.
И что-то тянет вниз.
Аукает.
Зовёт.

И грусть была, какой я сроду не пил.
Немело горло в спазмах немоты.

А сердце горько таяло, как пепел
Нахлынувшей внезапно темноты.
...Бывает так: стоишь, себя не помня,
Забыв годам и письмам женским счёт,
Когда всё краше, ярче и огромней
Мир прожитого в памяти встаёт.

М. Соколов. Дама с птицей



/1940/ 167

Мне нравится твой светлый подбородок
И как ты пудру на него кладёшь.
Мальчишку с девятнадцатого года
Ты театральным жестом обоймёшь.

А что ему твоё великолепье
И то, что мы зовём — сердечный пыл?
Дня не прошло, как вгорячах на кепи
Мальчишка шлем простреленный сменил.

Ты извини его — ведь он с дороги.
В ладони въелась дымная пыльца.
Не жди, пока последние ожоги
Сойдут с его скуластого лица.

Тогда была весна. И рядом
С помойной ямой на дворе,
В простом строю равняясь на дом,
Мальчишки строились в каре
И бились честно. Полагалось
Бить в спину, в грудь, ещё — в бока.
Но на лицо не поднималась
Сухая детская рука.

А за рекою было поле.
Там, сбившись в кучу у траншей,
Солдаты били и кололи
Таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая,
Зачем туда сошлись полки:
Неужли взрослые играют,
Как мы, сходясь на кулаки?

Война прошла. Но нам осталась
Простая истина в удел,
Что у детей имелась жалость,
Которой взрослый не имел.
А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города,
И стала нужной кровь, которой
Мы так боялись в те года.

Случайно звезды не украл дабы
Какой-нибудь праздный гуляка,
Старик никому не давал трубы,
Её стерегла собака.

Был важен в службе хозяйский пёс,
Под ним из войлока тёплый настил.
Какое дело кобелю до звёзд
И до прочих небесных светил?

А небом старик занимался сам —
Ночью, когда холодаеет воздух,
Он подносил его ближе к глазам
И рылся в ещё не остывших звёздах.

Мальчишки понять не могли, засыпая:
Что ищет в небе старик-ворожей?
Должно быть, ворота небесного рая,
А может быть, просто пропавших стрижей?

Он знал его лучше, чем тот квартал,
В котором живёт, занимая флигель.
Он звёзды, как годы, по пальцам считал —
О них он напишет умные книги.

А парень, на небо взглянув некстати,
Клялся, теребя у любимой ручонки,
Что завтра сошьёт он из неба платье
И подарит его глупой девчонке.

А девушке — что?
 Ей приятна лесть.
 Дышит парень табачным дымом.
 Она готова ни пить, ни есть,
 Только б на звёзды глядеть с любимым.

Старик не думал, что месяц спустя
 В сырьем убежище, где-то в подвале,
 Куда его силой соседи прогнали,
 Услышит, как глухо бомбы свистят.

...Рядом труба лежит без охраны:
 Собаку убило осколком снаряда.
 Тот парень погиб, говорят, под Седаном,
 И девушке платья теперь не надо.

А небо — в плену у стальных ястребят,
 Трамваи ищут, укрыться где бы...
 О горе, старик, когда у тебя
 Украли целую четверть неба!

СТИХИ ПРО СТЕКОЛЬЩИКА

Что надо стекольщику, кроме пустых рам?
 Со стульев вскакивают рыжие управдомы,
 Когда старик проносит по дворам
 Ящик, набитый стеклянным громом.
 А мир почти ослеп от стекла.
 И люди не знают о том, — вестимо!
 Что мать Серафимом его нарекла
 И с ящиком по свету шляться пустила.
 На нём полосатые злые порты.
 В кармане краюшка вчерашнего хлеба.
 Мальчишки так разевают рты,
 Что можно подумать — проглотят небо.
 Они сбегаются с дач к нему.
 Им ящик — забава. Но что с мальчишкой?
 Прослышал старик, что в каком-то Крыму
 Люди заводят стеклянные крыши.
 Он флигель оставил. Свистя на ходу,
 Побрёл ноздреватой тропой краснотала...
 Стекольщик не думал, что в этом году
 В лондонских рамках стекла не хватало.

ПАРИЖ ВЕСНОЙ 1940 ГОДА

В такую ночь пройдохам снится хлеб,
Они встают, уходят в скверы раньше,
А жуликам мерещится всё, где б
Пристроиться к весёлой кастелянше.

Что им война, когда они забыли
Гостиницы, где стгнили этажи,
Где, если хочешь, с женщиной лежи,
А хочешь — человеку закажи
Подать вина, что родиной из Чили.

Что им теперь подзвёздные миры,
Тяжба пространств, кометы-величины,
Коль нет у них ни женщины, ни чина,
А есть лишь положенье вне игры.

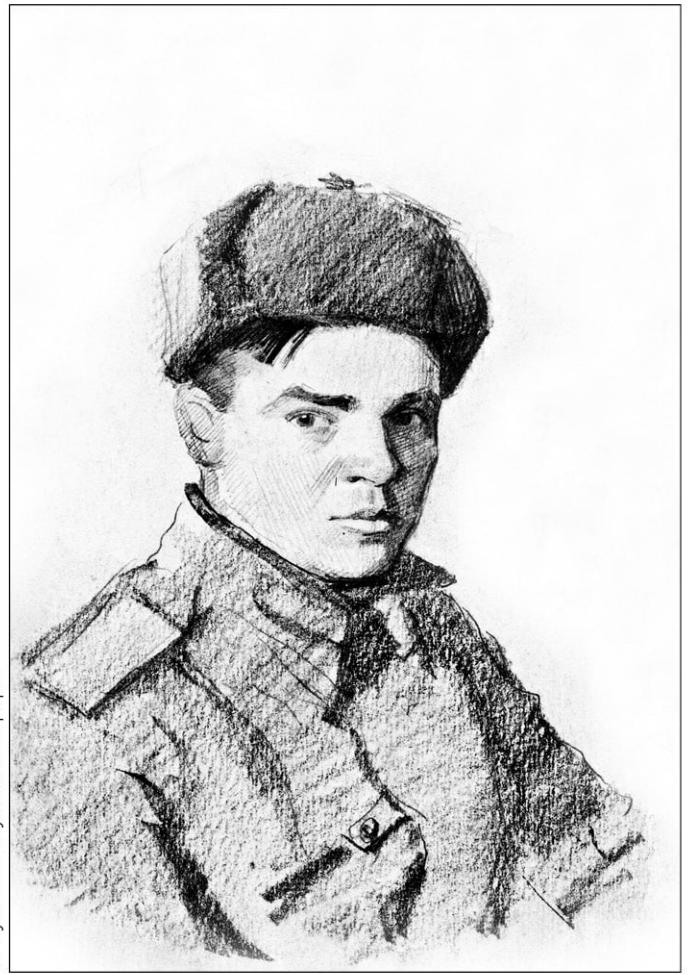
В ушах — всё ливень, сутолока, гул,
И невдомёк им, запропавшим пешим,
Что дождь давно в ту сторону свернул,
Где люди под зонтами прячут плеши.

Есть тёплый шарф, цветные макинтоши,
Но не для тех, кто на бульваре наг,
Тем всё равно: французы или боши.
Что победителю с таких бродяг?
У них отнимут отдых,

а на кой
Им эта дрёма и чужой покой?

Их выгонят на улицы под плети,
Они простудятся и будут спать во рву.
Но разве можно у таких, как эти,
Отнять родное небо и траву?

Не надо им отечества и короля,
Они в глаза не видели газеты,
Живут подачками, как будто для
Одних пройдох вращается земля
И где-то гибнут смежные планеты!



Ф. Кулагин. Мужской портрет

/1940/ 169

Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тётке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя
Всё то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.

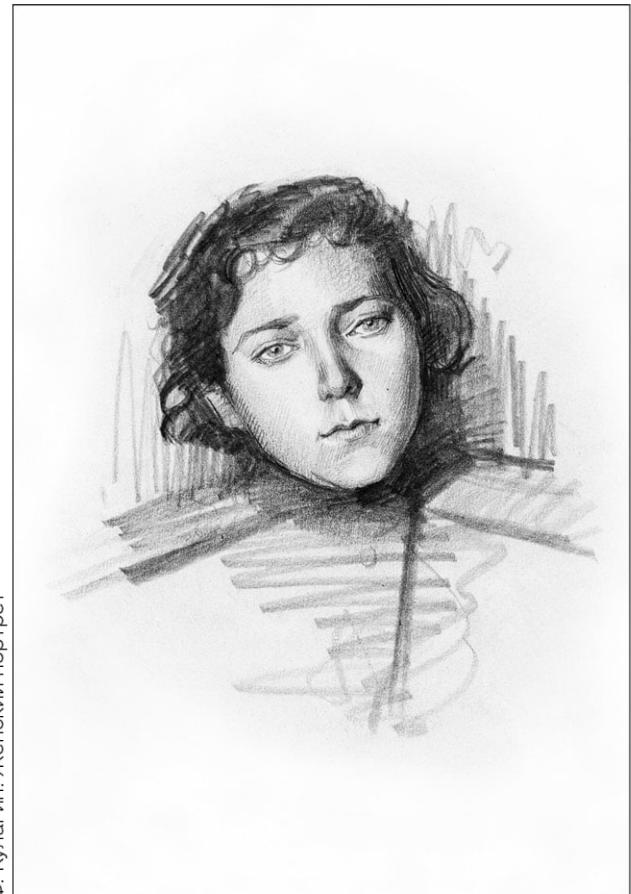
ТЕБЕ

Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша,
когда
ты надорвёшь конверт армейский белый
с «осьмушкой» похоронного листа...

Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нём тебе не нравилась

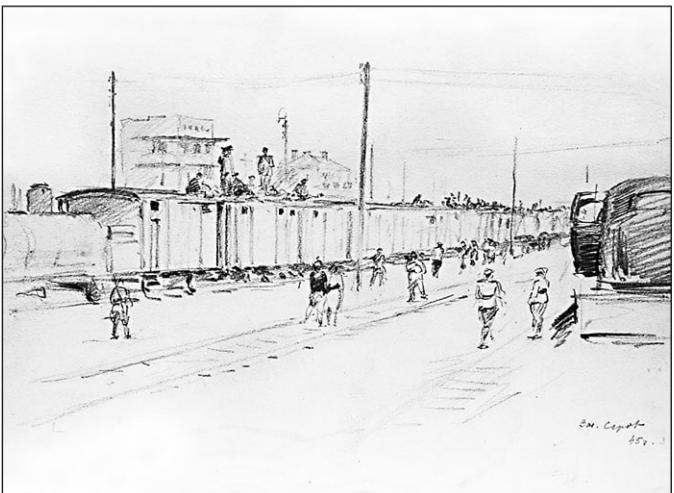
одна лишь
для женщины обидная черта:
он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.

И как бы ты ни жгла
и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!
Земля не обернётся мавзолеем...
Прости ему: бывают чудаки,
которые умрут, не пожалея,
за правоту прихлынувшей строки.



Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... и опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

Б. Серов. Демобилизация



Мы

Это время
трудновато для пера.

В. Маяковский

Есть в голосе моём звучание металла.
Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым.
Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображён.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные искаńя
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Б. Пророков. Лист из альбома



Но время шло. Меняли реки русла.
 И жили мы, не тратя лишних слов,
 Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
 Да в серой прозе наших дневников.
 Мы брали пламя голыми руками.
 Грудь раскрывали ветру. Из ковша
 Тянули воду полными глотками
 И в женщину влюблялись не спеша.
 И шли вперёд, и падали, и, еле
 В обмотках грубых ноги волоча,
 Мы видели, как женщины глядели
 На нашего шального трубача.
 А тот трубил, мир ни во что не ставя
 (Ремень сползал с покатого плеча),
 Он тоже дома женщину оставил,
 Не оглянувшись даже сгоряча.
 Был камень твёрд, уступы каменисты,
 Почти со всех сторон окружены,
 Глядели вверх — и небо было чисто,
 Как светлый лоб оставленной жены.
 Так я пишу. Пусть неточны слова,
 И слог тяжёл, и выраженья грубы!
 О нас прошла всесветная мольва.
 Нам жажда зноем выпрямила губы.
 Мир, как окно, для воздуха распахнут,
 Он нами пройден, пройден до конца,
 И хорошо, что руки наши пахнут
 Угрюмой песней верного свинца.
 И как бы ни давили память годы,
 Нас не забудут потому вовек,
 Что, всей планете делая погоду,
 Мы в плоть одели слово «Человек»!

Стихотворения 1941 года

Ни наших лиц, ни наших комнат...
 Но пусть одно они запомнят:
 вокруг московского Кремля
 вращалась в эти дни Земля.

30 апреля 1941

В АВГУСТЕ

Берег цвёл репейником и илом.
За репей цеплялась лебеда,
И как будто намертво застыла
В чёрно-синей заводи вода.

Бочаги пугали глубиною,
Синей топью угрожала зыбь.
Бурлаками с звонкой бечевою
Шли отлогим берегом вязы.

А навстречу — выжженные дали
В неумолчном грохоте войны...
Серебром рассыпанным упали
Бубенцы серебряной луны.

Дымом потянуло из ложбины,
Ветер дол тревожил горячо.
Кисти окровавленной рябины
Тяжело свисали на плечо.

Пусть помнят те, которых мы не знаем:
нам страх и подлость
были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна
и умирали
за эту жизнь,
не кланяясь свинцу.

* * *

Когда к ногам подходит стужа
пыткой —
в глазах блеснёт
морозное стекло,
как будто
вместе с посланной открыткой
ты отоспал последнее тепло.

А между тем всё жизненно
и просто,
и в память входит славой на века
тяжёлых танков

каменная поступь
и острый блеск холодного штыка.

* * *

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
лежим навытяжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждём приказа нового. И пусть
не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

Библиография

Майоров Н. П. Избранное: стихотворения / Сост., вступ. ст., примеч. Н. А. Голубева. (В кн. также: Письма к Ирине Пташниковой. Воспоминания *И. Пташниковой*). Иваново: Издатель Епишева О. В., 2015.

Майоров Н. П. Мы. Книга стихов / Предисл. П. Антокольского. (В кн. также: Памяти поэта. Воспоминания *Д. Данина, И. Пташниковой, В. Жукова, Н. Глазкова, М. Львова*). М.: Молодая гвардия, 1962.

Майоров Н. П. Мы были высоки, русоволосы / Предисл. А. Туркова. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1969.

Майоров Н. П. Мы / Предисл. Н. Банникова. М.: Молодая гвардия, 1972.

Голубев Н. А. Ивановские тетради Николая Майорова // Откровение: лит.-худ. альманах. № 20. Иваново: Талка, 2014. С. 327–351.

Голубев Н. А. Она помнит губы и голос поэта // Откровение: лит.-худ. альманах. № 17. Иваново: Талка, 2011. С. 141–154.

Ружина В. А. Нам страх и подлость были не к лицу... // Поэзия. Вып. 20. М.: Молодая гвардия, 1977. С. 147–153.

Список репродукций (графика из собрания Ивановского областного художественного музея)

№ стр.

- | | |
|------------------------|--|
| 25 | <i>Цуп Дмитрий Павлович</i> (1908–1995). <i>Демидовская улица весной</i> (из серии «Иваново»). 1949. (Бумага, карандаш. 31,5×43,5). |
| 26 | <i>Софронова Антонина Фёдоровна</i> (1892–1966). <i>Два деревца</i> . 1927. Бумага, тушь, перо. 19,6×17,6 |
| 28 | <i>Юдин Лев Александрович</i> (1903–1941). <i>В деревне</i> . 1940. Бумага, офорт. 11×14,5 |
| 38 | <i>Цуп Д. П. Иваново после дождя. Из серии «Иваново»</i> . 1940-е. Бумага, карандаш, уголь. 29,5×38,5 |
| 42, 112, 136, 156, 174 | <i>Пророков Борис Иванович</i> (1911–1972). <i>Листы из альбома для рисования</i> . 1928. Бумага, уголь, карандаш. 24×24,5
(Фонд Б. И. Пророкова) |
| 47 | <i>Софронова А. Ф. Радуга над городом</i> . 1928. Бумага, тушь, перо. 19,6×17,6 |
| 49 | <i>Цуп Д. П. Лист из альбома эскизов «Иваново»</i> . 1947. Бумага, картон, карандаш, сангина. 20×28,2×1,2 |
| 54 | <i>Соколов Михаил Ксенофонтович</i> (1885–1947). <i>Ландыш</i> . Бумага, тушь. 22,5×17 |

- 58 *Цуп Д. П. Городская улица.* Из серии «Иваново». 1940-е. Бумага, карандаш. 30×35
- 60 *Цуп Д. П. Интерьер. У окна.* 1950-е. Бумага, карандаш. 20×22
- 65 *Морозов Александр Иванович (1902–1997). На Ярославском вокзале.* Из серии «Железнодорожные пути». 1951. Бумага, сангина. 30×42
- 68 *Цуп Д. П. Мост через Уводь.* Из серии «Иваново». 1940-е. Бумага, карандаш, уголь. 31,5×43,5
- 79 *Цуп Д. П. Поле осенью.* 1962. Бумага, карандаш. 40×60,5
- 91 *Соколов М. К. Дама.* Из цикла «Прекрасные дамы». 1930-е. Бумага, тушь, перо, акварель. 31,2×22
- 95 *Цуп Д. П. Электроплитка на складном столике.* Бумага, карандаш. 28,2×20
- 96 *Соколов М. К. Берег с лодками.* Бумага, карандаш. 28×30,2
- 109 *Цуп Д. П. На железнодорожных путях.* 1950-е. Бумага, карандаш. 20×22
- 116 *Соколов М. К. Женский портрет.* 1920. Бумага, перо, тушь. 42×29,7
- 119 *Цуп Д. П. Утреннее солнце. Уславциево.* 1964. Бумага, карандаш. 40,7×59,5
- 120 *Цуп Д. П. В мастерской художника.* 1950-е. Бумага, карандаш. 19×15

- 128 *Секирин Николай Петрович (1899–1963). Рисунок к картине «В госпитале».* 1945. Бумага, карандаш. 42×30,5
- 131 *Соколов М. К. Пейзаж с деревом.* Бумага, пастель. 29,7×20
- 143 *Морозов А. И. Вечерняя смена.* Из серии «Железнодорожные пути». 1950. Бумага, карандаш. 31,5×43,5
- 148 *Цуп Д. П. Интерьер.* 1950-е. Бумага, карандаш. 25,7×20
- 153 *Лукин Борис Николаевич (1913–1987). Улица.* 1932. Бумага, тушь, кисть, перо. 34,2×23,5
- 160 *Соколов М. К. Дама с птицей.* Бумага, сангина. 36×25,5
- 168 *Кулагин Фотий Михайлович (1917–1977). Мужской портрет.* 1940-е. Бумага, карандаш. 16×11
- 170 *Кулагин Ф. М. Женский портрет.* 1940-е. Бумага, карандаш. 22×15,5
- 172 *Серов Василий Васильевич (1911–1993). Демобилизация.* 1945. Бумага, карандаш. 24,9×33,4

В оформлении перёплета использована репродукция рисунка А. И. Морозова «Электропути. Ярославская железная дорога». 1949. (Бумага, карандаш. 29,7×42,0).

На переднем и заднем форзацах:

Цуп Д. П. Листы из альбома эскизов «Иваново». 1947. (Бумага, картон, карандаш, сангина. 20×28,2×1,2).

СОДЕРЖАНИЕ

Жажда жизни. Лариса Щасная	3
Стихотворения	
«О нашем времени расскажут...»	27
1936	
Солнце	29
«Ты пишешь мне в письме, дружище...»	30
Осень.....	31
История.....	32
Звезда	33
Быль военная.....	34
1937	
Детство.....	36
В солдатчине	37
Апрель	39
«Ты мне о том не говори...»	40
«Забудем то, что полюбилось людям...»	41
«Мы пиво пьём за мраморным столом...»	42
В Михайловском	44
Закат	45
Часы	46
Дом	48

1938

На родине	50
«Я лирикой пропах, как табаком...»	52
На востоке.....	53
Весенне.....	55
Стремление.....	59
«Никто не спросит, не скостит...»	61
Вокзал.....	62
«Зимою он неподражаем...»	62
«А я, нагрузив чемоданы...»	63
«Когда прощаются, заметьте...»	64
Ярославль	66
«По какой тропинке...»	67
«Заснуть. Застыть. И в этой стыни...»	69
Волк	70
Его герои	72
Тут Горький жил.....	73
Отцам	75
Смерть революционера	77
«Не надо слов. Их много здесь говорено...»	78
«Моя земля — одна моя планета...»	79
Баллада о Чкалове.....	80
Утрата	82
Памятник	83
Торжество жизни	84

188

В мавзолее Ленина.....	86
Изба	87
На плоту.....	89
Дождь прошёл.....	90
«Дыша табачным перегаром...»	92
Ветер	93
Стол	94
«Мне снился юг и кипарисы...»	97
«С чьей жизнью жизнь свою соизмерять?..»	98

1939

«Как жил, кого любил, кому руки не подал...»	99
Рембрандт	100
Отелло	101
Что значит любить.....	103
На реке	105
Август	106
Мой отъезд	108
«На третьей полке сны запрещены...»	110
В вагоне	111
Рассказы, которые могут быть приняты за стихи ..	113
«У него, как у глобуса, одна нога...»	113
«Я выхожу на улицу...»	114
«Он считал, что единственная профессия...» ...	115
«Мне только б жить и видеть росчерк грубый...» ...	116

189

Одесская лестница	117
После ливня	118
Художник	121
«Я знал тебя, должно быть, не затем...»	122
Гоголь	123
Дед	125
Что я видел в детстве	126
В госпитале.....	129
«Ты каждый день уходишь в небо...»	130
Песня.....	132
Предчувствие.....	133
Ревность.....	134
В грозу	137
Рождение искусства	138
«Здесь всё не так...»	140

1940

Первый снег	141
«В тот день, когда я был ещё не твой...»	142
Творчество	144
Август	145
«Я был её. Она ещё всё помнит...»	146
Комната	147
«Всё к лучшему. Когда прошла гроза...»	149
Как я любил	150

190

Зов жизни	151
Монолог старого актёра.....	152
Эпитафия	154
«Я с поезда. Непроспанный, глухой...»	156
«Я знал одно...»	157
Обрыв	158
«Мне нравится твой светлый подбородок...»	161
«Тогда была весна. И рядом...»	162
Как воруют небо.....	163
Стихи про стекольщика	165
Париж весной 1940 года	166
«Когда умру, ты отошли...»	169
Тебе	171
«Я не знаю, у какой заставы...»	173
Мы	175

1941

«Ни наших лиц, ни наших комнат...»	177
В августе	178
«Пусть помнят те, которых мы не знаем...»	179
«Когда к ногам подходит стужа пыткой...»	180
«Нам не дано спокойно сгинуть в могиле...»	181
Библиография	182
Список репродукций	183

Литературно-художественное издание

Николай
МАЙОРОВ

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор — О. В. Епишева

Компьютерная вёрстка — О. В. Епишева

Технические редакторы — О. В. Епишева, Е. А. Колёснико

Подписано в печать 28.02.2019.

Формат 70×108/32. Гарнитура Petersburg.

Печать офсетная.

Бумага мелованная. Печ. л. 6. Усл. печ. л. 7,8.
Уч.-изд. л. 7,4. Тираж 1100 экз. Заказ № 1904480

ИП Епишева Ольга Владимировна
153027, г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, 54–48.
Тел.: +7 920 671 83 34, e-mail: eshur@mail.ru;
www.yepisheva.ru

Отпечатано:

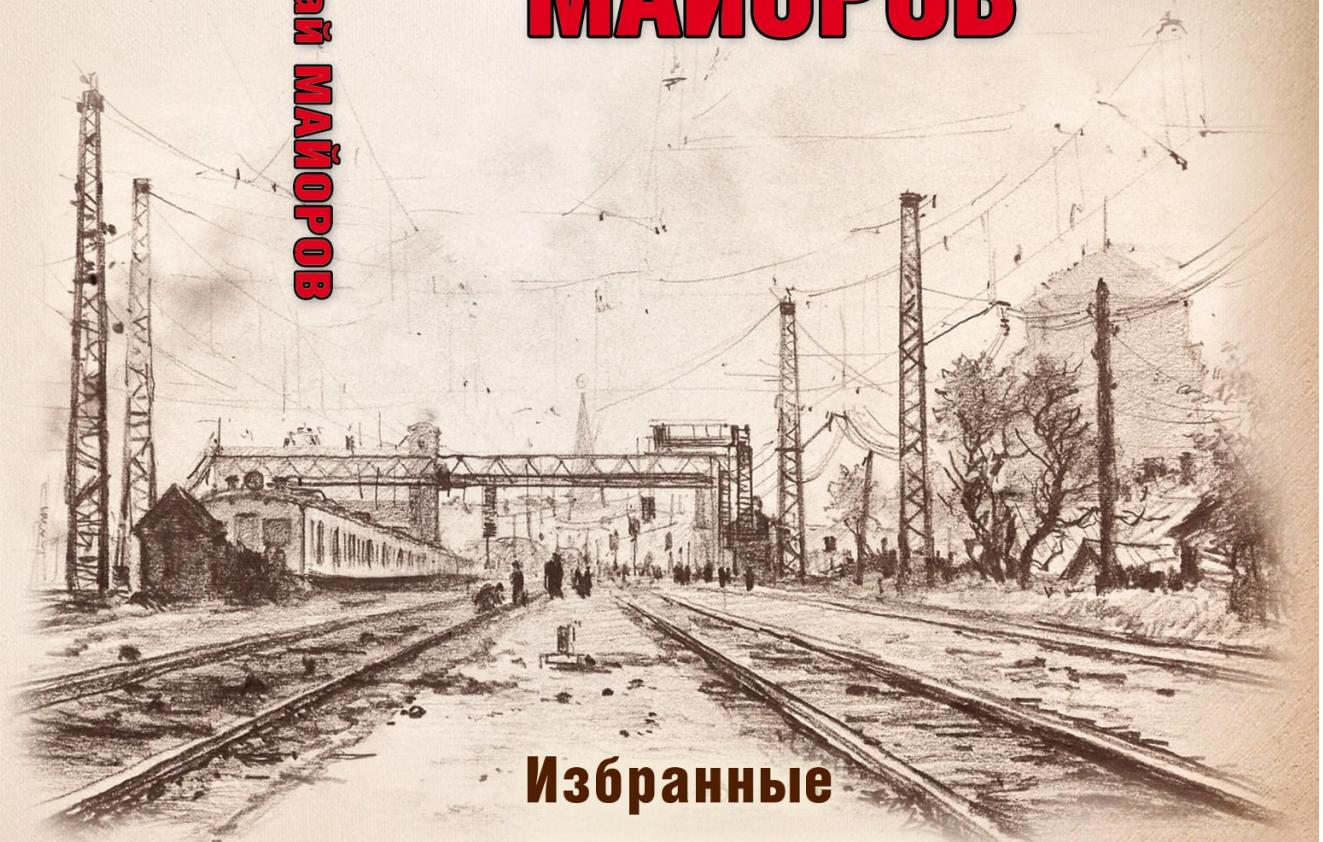
12+



Книга издана
к столетию
со дня рождения
Николая Майорова
(20.05.1919 – 8.02.1942),
талантливого поэта,
погибшего на Великой
Отечественной. В его
стихах, хранящих
настроения молодёжи
предвоенной
поры, есть всё,
чем жило, «болело»,
вдохновлялось его
поколение – самое
романтическое
поколение советских
людей, мечтавших
о светлом будущем –
и готовых отдать
жизнь за то, чтобы
оно наступило.

Николай МАЙОРОВ

Николай МАЙОРОВ



Избранные
стихотворения